Лариса Бау

Нас там нет

Взрослая трагикомедия о советском детстве

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Три подружки, Берта, Лилька и Лариска, живут в послевоенном Ташкенте. Носятся по двору, хулиганят, надоедают соседям, получают нагоняи от бабушек и родителей, а если и ходят окультуриваться в театр или еще какую филармонию, — то обязательно из-под палки. В общем, растут, как трава, среди бронзовых Лениных и Сталиных. Постигают первые житейские мудрости и познают мир. Тот единственный мир, который их окружает. Они подозревают, что где-то там, далеко, есть и другой мир, непременно лучше, непременно блистающий. Но они пока и в своем управляются неплохо.

От издателей: если вы успели узнать и полюбить героев «Манюни» Наринэ Абгарян, то рекомендуем вам обратить внимание и на эту книгу. Она чуть более взрослая, и смех в ней — часто смех сквозь слезы. Но смех этот все равно согревает.

- Лариса Бау
  -
  - Гегель и психическая внучка
  - Происхождение меня
  - Исторические напоминания
  - Ужасы окультуривания
  - Культурности как воспитательный прием
  - Приметы
  - Про секс и детей
  - В подвале
  - Печальномыслии об основах бытия
  - Про детство вообще
  - Скандал
  - Ассир дядя Гриша, пьяный сапожник
  - А теперь про Васиного папу, собутыльника всех
  - Про Илью Федоровича и Ольгу Александровну — друзей моих стариков
  - Моя любовь — Доктор Марк Михайлович
  - Про любовь вообще
  - Недоверие божественному
  - В школе
  - Профессия
  - Вообще
  - Размышления об исподнем
  - Выражение чувств
  - Всякие соседи

- Про милиционеров
- Поездки к матери
- Ташкент вообще
- Деяния
- Еще школа
- Категории лиц
- Чужое прошлое
- Из счастливой жизни
- Уныние детства
- Войнушка
- Французские лифчики в Ташкенте в 1972 году
- Преступные радости
- О неожиданности течения мыслей, если их скапливается несколько штук
- О пользе сводничества
- Злобный летописец
- Ламентации по поводу реальности бытия
- Подружка Берта и ее семья
- Плач по тете Рае, зихрона левраха[25]
- Подружка Лилька и Лилькина мама, детородный доктор тетя Римма
- Борька
- Еще обо мне
- Эпилоги

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30

Лариса Бау
НАС ТАМ НЕТ

Дорогие терпеливые и сочувствующие будущие читатели!

Эта жизнь, про которую вы тут начитаетесь, изначально произошла в Ташкенте в середине прошлого века.

Ташкент — это такой большой восточный город. Там дыни, виноград, персики, там плов варят, там жарко летом, снег зимой, а речки всегда полны ледяной воды, потому что они текут со снежных гор.

Раньше туда простирался Советский Союз, теперь там другая, в общем, неведомая мне страна.

Я родилась в 1953 году, Сталин уже умер, но народ еще не оправился от ужаса. Постепенно мир наполнялся осторожной свободой, и я росла как раз среди этих людей, слегка вздохнувших после тирании и большой войны. Так что судьба была милостива ко мне, и я благодарна ей именно за эти «минуты роковые». Могло быть куда хуже.

Мы были разнонациональные дети, вытряхнутые в это место из разных исторических мешков. На то время у нас была lingua franca[1] — русский язык. Было братство бедности. В школе нас учили быть одинаковыми, послушными и стремящимися. Во дворе мы сами учились озорству и свободе. Дома пытались ко всему этому прибавить нежности и защиты. «Ах, золотые времена, детство, невинности счастья, несмотря ни на что». Да ни фига, вранье это. Всякое бывало, страх, и неотвратимая тревога, и печаль проникали в нашу ежедневность в преддверии взрослого осиротения.

Тогдашний Ташкент — это Вавилон, исчезнувший быстро и даже обидно. То есть дыни и виноград остались, а дорожки, посыпанные красным песком среди вечернего благоухания роз, исчезли. И мы исчезли оттуда.

Вот сидим теперь в разных местах Земли, вспоминаем, плачем, смеемся. И после нас уже некому будет вспоминать.

Для тех, кто придет после, это будет историческая фантастика. Ну и пусть.

Любое чудо — на три дня.
Любой пейзаж — до поворота.

Но ощущение полета
важней, чем прочая фигня.

Людмила Булыгина

В 1957 году очередной вождь, будучи в расцвете сил, простил нас за грехи предыдущего вождя и переселил из подвала в квартиру в большом четырехэтажном кирпичном доме.

Процесс вселения напоминал Французскую революцию: галдели, толкались, размахивали документами.

Я сидела на детском стульчике во дворе, бабушка сказала: сиди тут, а то задавят. Задавление от общих чувств — периодически необходимое явление для человечества. Как я потом поняла, иметь общие с человечеством чувства бывает и безопасно, но тогда я об этом не знала, хотела обратно в свой любимый подвал под стол.

Наконец революция совершилась, меня позвали. Старики ликовали. Дедушка никогда не жил в таких хоромах. Бабушка до революции жила в таааааких хоромах, тааком дворце, что вспоминать об этом было опасно и неприлично.

Как недоверчивая псина, я начала обнюхивать углы. Осторожная радость раскручивалась внутри. Громко визжать мне не позволяли, но повизгивать по такому большому поводу — это пожалуйста.

Внесли вещи: любимый стол, тайно разрисованный снизу, никелированный скелет кровати, сундук — огромный болотного цвета деревянный ящик, в котором у военных полагалось держать артиллерийские снаряды. Внутри — сокровища: пара одеял, книжки, утюг… На нем — я, он долго был мне кроватью. Потом в него складывалось приданое, которое бабушка собирала для меня по крохам — там простынку, тут полотенчико…

Через пару дней после переезда бабушка начала выгуливать меня во дворе. Я, как мелкая боязливая собачка, от бабушки не отходила, устраивалась со своим раскладным стульчиком возле нее, сидящей на скамейке, сидела-рисовала. Но постепенно стала оглядываться все смелее, принюхиваться, присматриваться. Бабушка тоже не отставала: надо было запастись взаимоверными соседями на новом месте.

Сосед — он важнее родственника вдалеке. И на случай эвакуации, и пожара, и ночного ареста, и очередь занять, и ребенка подкинуть на пару часов. А если луковицу или трешку до понедельника — кто, если не соседи?

Опять-таки не коммуналка, в суп не плюнут. И сталин умер,

вроде не доносят уже, одна польза от соседей. Одна душевность.

Вот бабушка и зыркала во все стороны: чтоб культурные, непьющие. Таких много оказалось заселенцев — ссылочные, не доехавшие до своих столиц профессора, ученые, музыканты и вообще. Растерянные от огромных потолков, больших комнат, с парой узлов, в довоенной одежде — они были заметны сразу. И нас примечали — мы сами из таких.

Присматривалась бабушка и с целью найти своей странноватой хмурой внучке компанию: чтоб не обидели, не удивлялись сильно. Я невеселая девочка была, недружливая, нелегкая. Могла молчать по несколько дней.

Вон бабушка идет-переваливается, с одной руки — толстая девочка, с другой — мальчик, только ходить начал.

— Здравствуйте, здравствуйте, мы в двадцать первой квартире.

— Здравствуйте, меня Ида зовут, а вот Берта и Яша — мои внуки. А вы не евреи будете?

— Нет, но нам неважно.

— Ну вот и хорошо, Берта, познакомься с девочкой.

Берта подошла поближе.

— Тебя как зовут? Что молчишь? Она вообще говорить умеет у вас? А что у тебя в руках? Дай посмотреть! Ба, она не дает! Дай посмотреть! А ну дай!

Так меня первый раз побили в новом дворе, но зато познакомились навсегда.

— Здравствуйте, я Римма, у вас дверь открыта, принимаете? Да, мне Ида сказала, что вы пенсионеры с внучкой. Приходите на пельмени.

Заходите, Лилечка, вон девочка пришла с тобой дружить. Вот видишь, а ты боялась, что никого не будет.

Если что надо привинтить, прибить там — муж завсегда. Вы не смотрите, что Миша худенький, он у нас чемпион по боксу! А если рожать — то я в помощь. В роддоме работаю. Детородничаю, как муж говорит. Ха, понимаю, родили вон уже. Мамка-то есть у нее? Или совсем сирота приемная?

— Есть, наша дочка в Москве, кандидат наук.

— Ну вы садитесь, Миша, подвинь ящики. Лилька, а ну руки вынь из салата! Лилька уже знакома с Бертой.

Мы, девочки, ушли в другую комнату.

— Не давай ей Буратину свою!

— Где твои игрушки? Я Мальвину принесла. Ты не думай, я добрая, на, хочешь подержать?

— Хочу.

— А что молчишь? Ты всегда такая?

— Да.

— Ну ладно, я тебя в обиду не дам. Ты тока скажи, сразу в лоб!

— Кагор — о, я помню, да, сладкое вино! Еще до войны в Херсоне продавали в розлив.

— Чудная начинка у вас!

— Еще добавлю, да не стесняйтесь, я наготовила — куда девать. Ну, будьте здоровы! Ларисонька, деточка, садись, не стой в углу!

Лариса — это я.

Лилька разложила лоскутки — навалом у ней, красный вон, шелковый, мягкий, скользит… скучать буду по нему, как бы забрать, тихо-незаметно… украсть то есть… да верну я потом, верну!

Самым поразительным местом в квартире был туалет — большой, прохладный. Толстая, еще не ржавая труба тянулась с полу до потолка, урча, проносила в ад загадочные… Ну не знаю, как сказать. Были они тогда загадочными, ну что вы хотите от маленького ребенка?

Туалет был заботливо охомячен: бабушка повесила на дверь календарь с розами, поставила по татарскому обычаю кувшин с водой (зачем-зачем, ну не пить же?). И начала вышивать мешок, или как она называла его, «сашé» для, простите, подтирок.

В те времена в этой отдельно взятой стране туалетную бумагу еще не изобрели. Поэтому дедушка, аккуратист и педант, разделывал газетку старинным серебряным ножом для разрезания книг. Складывал ее, пилил осторожно, священнодействовал, сердился, если торопили. Потом все складывалось в саше, старательно вышитое цветами и птицами. (Бабушка была настоящая барышня в детстве, наученная вышивать, играть на фортепьянах, петь, пользоваться кружевным платочком вовремя и незаметно.)

Эти ровно нарезанные бумажки были мои любимые игрушки. Кораблики, домики, трубочки, кисточки — все можно было сложить и скрутить. Дедушка удивлялся странному расходу бумаги, но находил неприличным спрашивать.

В те времена слова «коммунизм», «целина», «вперед», «партия» и прочие говорились громко и отовсюду. А слова «лагерь», «вышка», «без права переписки» только начали входить в обиход. Они так же быстро вышли из обихода, но дело было сделано: квартиру мы получили. А это куда важнее, утешалась

бабушка.

Меня в то время учили читать под угрозой страшной порки. Старики сами отбили всю охоту, читая вслух хорошие книжки. Кто ж потом захочет сам эту муру читать: «Мама мыла раму»?

Как-то мне пришла в голову мысль читать заголовки в газетах, а от нарезанной газеты можно получить дополнительное удовольствие — составлять правильно куски. Какие слова неслись из туалета!

«Вперед, к победе коммунизма!»

«Дадим Родине высокий урожай хлопчатника!»

— Слава богу, уже не те времена, не посадят ведь ребенка за то, что в туалете читает политическое, — успокаивала бабушку жена дедушкиного бывшего сокамерника.

— Даже хорошо, вырастет политически грамотная девочка, — утешал сам сокамерник.

— Придет время, отличит Гоголя от Гегеля… — смеялся дедушка.

Ну вы знаете, как там дальше, в этом анекдоте.

Гегель и психическая внучка

Как-то раз я обнаружила, что дома валяется Гегель.

На самой нижней полке этажерки, замызганный серой мокрой тряпкой от небрежного мытья полов.

Истрепанная пожелтевшая книжка с дореволюционным правописанием, твердыми знаками в конце слов и неприличной буквой «ять».

Дедушка удивился: откуда она взялась? Неужели я ее за собой таскал? Со студенческих лет не открывал.

Ну я снесла ее себе в кучку, предвкушая дождливый вечерок. Эх, начитаюсь.

— Ну читай, читай, — посмеялся дедушка. — Абсолютный дух — как раз для тебя.

Что он имел в виду? Детское твердое убеждение в существовании волшебниц и принцесс? Обладала ли абсолютным духом соседка Миллерша, про которую бабушка говорила «глубокорелигиозная высокодуховная женщина»? Или другой сосед, про которого она же говорила: не слушай его, он абсолютный дурак!

Меня воспитывали в строгости и последовательности серьезных действий: книжку надо читать с предисловия.

Предисловие было на редкость скучное и незнакомое, никаких намеков на то, что коммунистическая партия одобряет и рекомендует этого несомненного пламенного революционера мысли всему советскому народу. То есть приятной вдохновляющей пользы не ожидайте. Беллетристика, как опытные читальщики сказали бы.

Тогда я уже осознавала, что, раз уж я родилась в мир людей человеком, мне придется среди них жить, и понимать их миропорядок и как-то даже участвовать в нем. У меня было большое подозрение, что порядок этот жесток, сложен, невнятен душе. Хотелось сформулировать их законы, для этого Гегель, казалось, очень даже подходил. Из предисловия было ясно, что человеком он был мрачным и недовольным, держался в стороне, не женился даже, что его унесла холера, да и без холеры он жил, как я, — в подозрении и одинокой печали.

Я надеялась, что он внятно объяснит все, что надо: дедушка сказал, что книжка для меня. И надо же как-то занять себя, когда со мной не хотят играть.

Запаслась семечками, включила свое ослиное упрямство и углубилась в книжку.

Очень бы хотелось сейчас, когда я это все пишу, привести

цитаты, освежить память. Но нет у меня больше этой книжки. Может, ее наш попугай склевал? Был у меня такой подлец, царство ему небесное, улетит под потолок, где нечитаемое хранилось, хрумкает там, только шелуха летит. Столько книг объел, может, и Гегеля своротил, а может, потом, миграции-эмиграции… истлел где…

Сейчас у меня дома Гегелей нету, у сына есть, но уже на английском, долбать-переводить неохота. Спасение ленивцев — Интернет, там и почерпну.

«Философия хочет распознать содержание, реальность божественной идеи и оправдать порицаемую реальность». Вот оно, порицаемая реальность: то руки мыть, то конфет не дадут больше. И я хочу распознать содержание, я уже тогда на своей шкуре испытала, что божественная или какая-нибудь вообще хорошая идея и реальность несовместимы до степени абсолютного духа.

«…мировой дух должен освободить себя от всякого чужеродного существа, понять себя как абсолютный дух, создать все настоящее из себя самого и сохранять его же в своей власти в полнейшей неподвижности». Вот оно, как надо жить каждый день, в борьбе, добиваться своего. Насчет неподвижности он, конечно, перебрал, скучно будет. Я воевала с бабушкой: не хочет мой дух ни зубы чистить, ни лицо с мылом мыть! И в страшную горячую баню в пятницу не пойдет! И рыбий жир не сглотнет!

Бабушка гремела: «Отнять у нее эту книжку, и так мозги набекрень, никто во дворе играть с ней не хочет!»

В студенческие годы я снова столкнулась с Гегелем. Тогда он был уже законченный поганец и недоумок. Если бы Энгельс не спер его идеи, не упростил бы их до вульгарности, фиг бы его вообще упоминали коммунизменные учителя.

В общем, зануда, оживляемый анекдотом «Гоголя от Гегеля».

Не так давно, гуляя по пляжу в далекой от гегельянства стране, я услышала, как хозяин звал собаку: «Хегел, хегел, ко мне…» Ну Гегель, вечно живой!

Публичные массовые искусства и мероприятия вызывали у

меня страх, тоску и недоумение. Они требовали от разума снисхождения в смысле логики поступков.

Конечно, если часто меня водить в поющие и танцующие заведения, наряжать и баловать пирожными, можно разжалобить на приличное поведение и даже некоторое участие в аплодисментах.

Но все равно ум и сердце занимали тихие, камерные, как принято говорить, искусства, если не поэзии, то размышлений.

Чтение художественной литературы огорчало меня до слез.

Вот такие же, как я, дураки, простодушные зайцы и мишки. Буратина-неуч. Витязь в тигровой шкуре — обоих жалко. «Калевала», от которой страшно так, что лучше не закрывать глаза даже в темноте. «Крысолов». Танцы сиротки в чужих туфлях с часами в руках, а то всё отнимут. Шайтан на ишаке. Талер слезами отмывать!

Ведь столько страшного надо претерпеть, что можно не дожить до счастья. Или настроение будет так отравлено, что никакого принца уже не нужно. Куда лучше читать сложенную по правилам игру, написанную этим уродским зломордным дядечкой с чудесным неторопливым именем: Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

У меня появилась уверенность, что все уже придумано этим одинокого сердца человеком, на любой вопрос есть ответ, надо только его вовремя найти.

Он подчеркивал необходимость обеспечения всякой новой жизни старыми правилами. *«Любому человеку, чтобы не погибнуть, нужно понять, что мир существует самостоятельно и в основном закончен».* Если слово «закончен» понимать как кислый кефир на ночь, баню, поход к зубному — то, может, проказ злых волшебников по ночам действительно не существует.

Но слово *«в основном»* настораживает необходимостью участия, пока не умер от ужаса.

А насчет *«самостоятельно»* — это каждому ребенку понятно и почти каждому взрослому, если не считать революционеров.

Бабушке мои увлечения леденили душу. Дедушка считал, что стоит вдохновляться примером его старшего брата Султана, который тоже увлекался книжной мудростью с самого детства, а потом закончил Харьковский университет еще до революции, будучи татарином, знал много языков и пользовался уважением в ученых кругах. Но бабушка кричала, что бедную сиротку надо замуж выдать, а брат Султан — не пример для подражания, особенно конец его жизни в Соловецком лагере.

Для утешения у бабушки был детский психиатр Вазген

Арутюнович — толстенький дяденька. Тот, кто дружил с собаками, знает, каково вести их к врачу. Собаки упираются, в глазах у них так ненастно, что лучше не заглядывать туда, а побыстрей предательски подталкивать беднягу и якобы утешать.

Так вот мне пришлось быть той самой собакой, когда меня привели в чужую поликлинику, обещая потом «Детский мир» и мороженое.

Там было невесело в очереди, худой мальчик раскачивался и мычал, мама держала его, чтобы он не упал со стула. Была еще одна девочка, но она не захотела со мной дружить, пощупала пуговицу на пальто и отошла.

Наконец вошли в кабинет, и у меня отлегло от сердца.

Там не было страшных скелетных стеклянных шкафов с железными коробочками, там были Буратины, несколько штук, большой медведь, пара кукол, книжки. Посреди комнаты с детского стульчика свисал сам доктор Вазген Арутюнович, толстый нос, толстые уши, толстый весь. Оказалось, он уже знаком с бабушкой и теперь желает познакомиться с моим образом мыслей.

Он был чудесный человек и совсем не доктор. Не надо было высовывать язык, показывать горло, он не слушал трубочкой, главное, его совсем не интересовали зубы. Зато его действительно интересовали мои мысли по поводу Гегеля, видимо, он тоже хотел научиться безболезненно жить. Я не боялась его и чувствовала себя умной, правильной и доброй.

— Ну, как дела, младогегельянка? — спрашивал он весело, выпроваживая бабушку решительным жестом.

Не то чтобы он всегда соглашался со мной, но и не сердился, он поглаживал потрепанного Гегеля по обложке и пытался всучить Буратину, от имени которого сейчас ответ и должен прийти. От Буратины? Деревянного дурака? Он считал необходимым населить Гегеля привычными Емелями на печи и шайтанами на арбах… И постепенно эти чудовища обретут нестрашность через логику… А без них в детстве ну никак нельзя, это они закаляют к свершениям, самосоплеутиранию, сухим глазам и ярости праведной смерти во имя человечества.

Бедный Вазген Арутюнович! И Буратину совал, и Сову, один из них был как бы Гегель, а другой — как бы сама я.

Или *Абсолютный Дух*, а второй — *Абсолютная Идея Себя.*

И так они играли, пока сомнения *Абсолютного Духа* не кончатся в *Царстве Свободы*, куда *Абсолютная Идея Себя* его приведет.

— Не надо Буратины, у него нету духа. Куда ему до *Царства Свободы*, когда *Идея Себя* в девять часов должна идти спать после

вечернего кефира…

Вазген Арутюнович не спорил, он понимал, что насильный кислый кефир ограничивает *Идею Себя*, и духа в Буратине он тоже не находил, сколько его ни верти. Он послушно задавал за Буратину вопросы, на которые Сова гегельянски отвечала. Буратино слушал Сову, даже не перебивая. Вазгена Арутюновича не хотелось огорчать, он не был сторонником, как сейчас говорят, карательной психиатрии. Он не разрешал бабушке отнять Гегеля насовсем, чтобы меня не травмировать, поэтому приходилось терпеть гегельянство Буратины. Как же было гордо и уважительно ходить к такому умному и доброму человеку, главное, в очереди ни на кого не смотреть.

И бабушка, и Вазген Арутюнович провидчески надеялись на школу. (Но в армию меня отдать после школы никто не предлагал.)

Сам Гегель был в этом подмогой.

Вы послушайте, что он написал, предатель: *«Скорее следует считать пустой, бессодержательной болтовней то утверждение, что учитель должен заботливо сообразовываться с индивидуальностью каждого из своих учеников… На это у него нет времени. Своеобразие детей терпимо в кругу семьи; но с момента вступления в школу начинается жизнь согласно общему порядку, по одному для всех одинаковому правилу».*

Ну это, конечно, запальчиво сказано, но доля правды в этом есть. Его, Гегеля, портрет должен висеть в каждой школе. Очень дисциплинировало бы, почище лысого ленина, к которому уже все привыкли везде, и никто его не боялся…

Недавно я прочла у Гегеля: *«Чтобы стать свободными… народы должны пройти через страшную дисциплину и подчинение воли господина».*

А прав был, противный злыдень…

Происхождение меня

Ну вы знаете такое несколько шутливое выражение «жертва аборта».

А после войны аборты были запрещены, и ненужные дети вполне заслужили название «жертва неаборта».

Ах, какой цинизм! Но жить-то надо.

Так вот я она и есть, как раз в это время родилась, блаженна, так сказать, «посетить сей мир в его минуты роковые».

Мне повезло, забрали старики в Ташкент.

Первые годы — счастье вне мыслей, слов, нищеты, презрения и сплетен.

А потом, постепенно, мировой порядок людей, приспособленный к месту и времени, начинает вторгаться в это счастье.

Сначала интонацией взрослых разговоров, тревогой послушания непонятному, потом детской неуместной честностью.

— А почему у тебя мама старая? Она скоро умрет, а у меня молодая, долго жить будет.

— А у тебя папы нет? Значит, мать твоя гулящая? А они, гулящие, знаешь как называются? (Ну вы знаете, чего повторять-то.)

— А дедушки папами не бывают.

Сначала я пыталась защищаться: у меня родители — дрессировщики в цирке, они меня не берут, чтобы тигры не съели.

— А дрессировщики богатые, у них золотые одежки, а у тебя вон чулки зашитые. Врешь ты все.

Я росла молчаливая и злая. Не то чтобы хотела «всех убить, чтоб они сдохли», но детей во дворе сторонилась долго.

Взрослое общество стариков манило: загадочное, многословное, неторопливое, с неколебимой уверенностью и спокойствием.

Люди среднего возраста не останавливали взгляд. Участковый детский врач, нестарая еще женщина, была седая, сапожник на углу улицы — ну совсем седой. Книжки — старые колдуны, волшебницы, сами писатели на портретах были уже «солидного возраста».

Мне вообще все взрослые казались стариками. Даже моей первой долгой детской любовью был уже немолодой военный доктор, седой и ветеран войны.

Мне было четыре года, в один прекрасный день все замерли в ожидании новой жизни: приехала Мать, из столицы, самолетом ТУ-104, где все было прекрасно и на обед давали какую-то икру.

Мать была очень красивая, с нежной улыбкой. Наконец, молодая принцесса. Туфли на тонких каблуках, как это красиво, сами знаете, старушки предпочитают уродские низкие каблуки. А тут!

Новой жизни не случилось, приехала-уехала. Ну и слава богу.

Жизнь расширилась детской дружбой, сверстники подросли, всем стало неинтересно, кто откуда, родители какие-то, ну что о них говорить, только и знают, как со двора гонять…

Исторические напоминания

В детстве меня окружали ленины: статуи в полный рост в парках, бюсты, бюстики — в солидных учреждениях, картины маслом на почте и плакаты в детских поликлиниках. Их было так много, так много, ну как плюшевых мишек в американских игрушечных магазинах! А прибавьте еще всякие подарочные магазины, и перед праздником даже в аптеке найдете с десяток мишек.

Сталин тоже был, но его казалось меньше, скажем, как плюшевых собачек. Их ведь тоже много, но с мишками по количеству не сравнить.

К тому же в какое-то время сталины стали исчезать ночами. Едешь в троллейбусе, смотришь в окно: вчера был, а сегодня пусто, разровнено даже. Бабушка обычно нервно смеялась по такому случаю, но смеялись не все, кто крестился, кто возмущался, кто испуганно молчал.

Сталин вообще был немного вне моего внимания, дома его не упоминали по имени, это был «он», этого Сталина дедушка явно ненавидел всей душой.

А ленина дедушка, видимо, любил, тоже всей душой.

Когда, гуляя на бульваре возле заброшенного фонтана, украшенного гипсовыми людьми, я просила показать, кто из них ленин, старики ускоряли шаг и публично обвиняли меня в глупости. Почему глупость? Понятно, что Буратино возле кукольного театра — не ленин, и которые с ним — тоже, и на кладбище его не было, но в этом нельзя быть уверенным, потому как мы никогда не доходили до конца. Топтались возле трех могилок и даже не смотрели по сторонам.

В будке сапожника они оба были. Прикнопленные к стене, украшенные бумажными цветами с уголков. Кто-то велел сапожнику сталина снять, он жаловался, плакал, бил себя в страшную волосатую грудь и обещал отдать за сталина жизнь. Мне стало жалко его, я сказала, что он опоздал, сталин умер, ему уже не нужна сапожникова жизнь.

Он стал спорить, что нет, не умер, вместе с лениным не умер. У меня помутилось в голове, я еще не знала тогда, что ленин всегда живой. От ужаса я стала орать, что они все умерли ОЧЕВИДНО. А загробная жизнь была только в Древней Греции, и то давно.

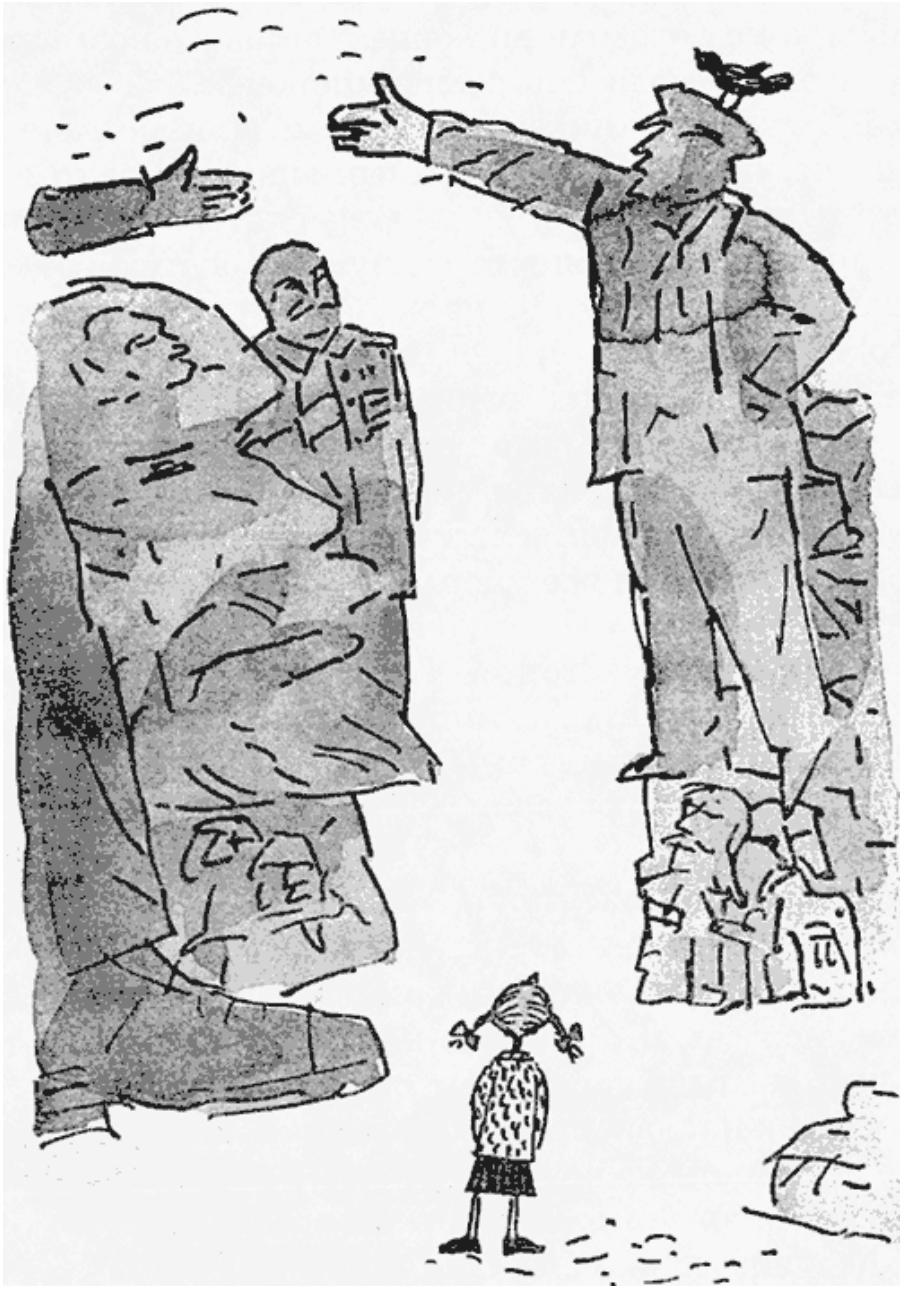
А дедушка, вместо того чтобы поддержать мои наблюдения, предательски извинился перед сапожником и потащил меня домой.

С тех пор мне разрешали говорить про них только дома.

Когда собирались постлагерные друзья, можно было спрашивать, всех ли сталинов убрали из города? А когда уберут ленинов и кого поставят взамен? Дедушка сказал, что ленинов не уберут никогда. В это трудно было поверить после сталинов, но он верил.

Он так и не знает, что был неправ. Ленинов тоже стали убирать, но не как сталинов, с воровским испугом. Ленинов убирали азартно и весело.

Дедушка также был неправ, что сталинов убрали навсегда: они стали появляться потихоньку, маленькие еще, незаметные, по праздникам, а кое-где уже бронзовые. Опять на некоторое «навсегда».



Ужасы окультуривания

Еще до всякой музыкальной школы, но уже после знакомства с зубным врачом в моей жизни присутствовал регулярный ужас пятничной бани по причине отсутствия горячей воды дома вообще.

Уже само шествие в баню было позорным: большую холщовую сумку с полотенцами, трусами, вонючим банным мылом, страшным, как взрывчатка, и пыточной мочалкой бабушка надевала как рюкзак.

С таким мешком ходил один грубый, всегда пьяный нищий, которого мы все боялись. Поэтому бабушку было ужасно жалко.

А мне надо было тащить маленький тазик, настоящий китайский с яркими красными рыбками по краям. Но в такой день даже они не радуют.

Баня — некрасивое, недоброе учреждение — помещалась возле речки, где старшие мальчишки ловили дохлых крыс, привязывали на палку и носились с ними по двору. Поэтому, уже подходя к бане, надо смотреть под ноги, это насчет крыс.

Банные запахи невыносимы: мокрый горячий воздух, который нельзя вдохнуть, зловонное мыло, одеколон, от которого трещит в носу, но самый страшный запах был *дезинфекция*. Он был настолько невыносим даже бывалым, что баню в такой день просто закрывали, а потом мальчишки имели урожай дохлых крыс.

Банные речи наполнены страшными пыточными словами: шайка, предбанник, душ, обдать шайку кипятком, мылить и тереть, мозольный оператор, вши, бюстгальтер застегнуть, окатить…

Это все еще как-то можно было пережить. Самое страшное — это смотреть в бане.

Баня наполнена страшными существами, косматыми мокрыми ведьмами, вылезающими из туманного пара, хохоча и взвизгивая.

Спереди у них росли огромные болтающиеся бугры, которые мальчишки во дворе называли «сиськи», а сами женщины горделиво терли их, как приросших младенцев, и называли грУУУди.

А еще на тетках, страшно сказать, росли пучки волос в разных местах. Где же принцессы? Неужели, если снять с них золотые платьица, они тоже такие? Неужели из Белоснежки торчат эти страшные волосяные кочки? И что, я тоже такая буду со временем? Неизбежно?

За что? Нет-нет, я так не хочу!

Но ведь мальчишкой быть тоже не хотелось, худым вихрастым уродом с цыпками, кривыми зубами и, ну сами знаете, позорной висючей пипиской? Ох!

Но нельзя было поддаваться отчаянию, впереди ждали блинчики с вишневым вареньем. Надо было дожить, не погибать же без награды!

Покорно, стараясь не задеть намыленных чудовищ и не уронить тазик с мылом, мы проходили в уголок…

В мытье есть две особо пыточные части: МЫТЬ ГОЛОВУ и ОКАТЫВАТЬСЯ напоследок.

Дедушка бы не допустил такого страшного издевательства, но нельзя было даже просить его пойти вместе с нами. Он предательски ходил в другой день с соседями и вениками.

Главное, когда МОЮТ ГОЛОВУ, не визжать, чтобы мыло не попало в рот. Главное, когда тебя ОКАТЫВАЮТ, не упасть на скользкий серый пол в мыльной пене. Потому что, если упасть, начнут снова мыть.

А после этого уже ничего не страшно, даже если смотреть как стригут ногти на ногах.

По дороге обратно у меня начинался приступ неостановимой говорливости и счастья. Уже не стыдясь тазика и холщового мешка, можно было не торопиться во дворе.

Баня делала маленького человека героем, но пускаться в разговоры не стоило, сразу началось бы с мальчишьей стороны: а сиськи видела? Что с них взять, дураков. Все, оно теперь мое, варенье, целое блюдечко, блинчики макать…

* * *

Несмотря на то что прогресс по части воспитания детей продвинулся в сторону свободы, еще много на свете страдальцев, которых заставляют ходить в музыкальную школу.

Бабушка считала, что без музыкальной школы не только молодой корнет, но и последний плешивый вдовец не возьмет меня замуж, и даже в унылом стародевичестве мне нечем будет занять себя дождливыми вечерами.

В то время эти печальные перспективы не волновали меня, хотелось валандаться во дворе после школы, воровать черешни у соседей и тайно грызть семечки.

Но с бабушкой не поспоришь, и приходилось тащиться с ней по длинной пыльной улице, огромная коричневая нотная папка с тисненым Чайковским в лаврах больно била острыми углами по

ногам.

В музыкальной школе было прохладно, стены покрашены голубым, отовсюду из комнат раздавались омерзительные звуки: кто долбал фоно, кто пиликал, кто аккордеон терзал…

Как можно добровольно быть учительницей музыки? Как можно выносить целыми днями этот кошмар? Каждый день терпеть ленивого бездарного мучителя, когда хочется стукнуть его по башке? А потом утешать его родителей? Ну понятно, в школе для одаренных, там хоть какой-то прок! А в школе для юных рабов культуры? Уж лучше зубным врачом!

Бабушка твердо брала меня за руку, никаких живот болит, а также и голова, впихивала в комнату, где вытирала платочком потный лоб и отхлебывала чаек Генриетта Моисеевна. Они кратко любезничали с бабушкой, потом Генриетта Моисеевна собирала волю в кулак и бросалась в атаку…

Как там Гоголь написал в страшном своем «Тарасе Бульбе»: *«Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века…»*

После этого урока мне давали пирожок и гнали в другую пыточную: аккомпаниаторство струнным.

Там уже сидела братская жертва, тоже с бабушкой. Это был худой еврейский внук, с такой же огромной чайковской папкой и гигантской виолончелью. Не может быть, чтобы Бах этого хотел! И Бетховен не хотел!

Опять Гоголь, см. выше.

Как она нас пытала, как пытала! Посмешищем грозила — выступлением на день конституции…

Солнце садилось, брели обратно пыльной улицей. Сзади жаловались бабушки. Впереди мы, невольники в цепях чайковских папок, грызли яблоки.

— А у меня красная проволочка есть.

— А у меня две зеленых, я тебе дам одну.

А вот Берте с музыкальной школой крупно повезло.

И вы думете от чего? От «анасимизма».

У нас во дворе даже некоторые взрослые понимали, что слово «жид» обидное. А детям вообще нельзя было так говорить, это как матерное слово.

Так вот, когда меня загнали в музыкальную школу и Лильку тоже повели прослушиваться, бабушка сказала замученной Бертиной бабушке, что Берта хорошо поет, у нее есть слух, и ее тоже надо.

Тогда еще никто не знал, как это ужасно — музыкальная

школа, Лильке уже купили папку для нот с выдавленным Чайковским, а мне еще нет. Мы трогали этого Чайковского за лицо, и Берта тоже захотела.

Ну конечно, стали говорить во дворе, что все решено, мы все идем в музыкальную школу, а взрослая соседка сказала громко: «Ну конечно, как же, этой жирной жидовки там не хватало, все жиды уже там, и эта психическая внучка, выпустили культурных. Давайте мы на заводах вкалывать будем, а они на скрипках пиликать!»

И Берта, Берта, которая всех могла убить тараном, заплакала и убежала в общественный подвал-бомбоубежище. Оказалось, что она боится быть «жидовкой». Ей бабушка рассказывала, что на Украине они в лесу прятались от немцев, потому что «жиды», а тут даже леса нет, если что.

— Тут немцы не придут, уже войны не будет, глупости какие, тут все равны! А соседке мы отомстим, говняшек наложим под дверь! Почтовый ящик подожжем, Вася вон умеет…

Берта и сама уже понимала, что войны не будет. Но идти в музыкальную школу она наотрез отказалась. Так и вышло: мы с Лилькой мучились, а она во дворе шлендала.

* * *

Берта, Лилька и я были серьезные девочки. Двоих таскали в музыкальную школу, а Берта ходила на шахматы сама.

Но мне всех ставили в пример как лучших: Берту, хотя она слушалась взрослых редко и неохотно. Лильку, которая тоже не отличалась покорностью, но дома это было малозаметно. Она отвлекалась в яслях-саду-продленке, а при родителях уже усталая была. К тому же родители чувствовали себя виноватыми, что Лилька, как детдомовка, на казенной каше, и усердно приласкивали ее вечерами и всё разрешали.

Лильку ставили в пример как девочку общественной судьбы, упорную по части музыки.

А Берту в пример как умную и серьезнодумающую девочку без легкомыслия в голове, потому что она ходила в шахматную секцию без принуждения.

И меня тоже решили отправить в эту шахматную секцию — учиться усидчивости-сосредоточенности на поставленных-перед-задачах.

Это был подвал с портретами. Среди привычных ленинов были шахматисты всего мира, многие очень культурно одетые в шляпы.

Для знакомства выбрали шахматный праздник. Руководитель кружка, ветеран Отечественной войны Арон Сергеевич, вонючий табаком мятый дедушка, был чемпион. За столиками рядком сидели пионеры и всякие с блокнотиками, а сам Арон Сергеевич быстро ходил перед ними и вертел фигурками.

Публика волновалась: слоном пошел! Дураки слепые: где там слон? Там только конь, и то половинчатый. Но спросить вслух я не решилась.

Надо было благоговейно смотреть. Бабушка косилась в надежде на проявление у меня на лице понимания или заинтересованности. Но не находила.

Берта была среди рядком сидящих, подтирала нос рукавом, ей никто на делал замечаний, все увлечены были. Двигали фигурки. И так серьезно, так переживали, как будто это не деревяшки, а солдаты насмерть: ах, черт, зачем ладью отдал! После меня подвели к Арону Сергеевичу знакомиться.

Оказалось, что я по этой части совсем неграмотная и некультурная. Никогда не трогала этих шахмат, да у меня их вообще не было.

— Ты знаешь, что шахматы пришли из Индии?

— С цыганами, наверно, эти тоже из Индии пришли, — я решила блеснуть знаниями.

— Нет, — возмутился Арон Сергеевич, — это королевская игра, ты когда-нибудь видела, чтобы цыгане играли в шахматы?

— Нет, но я не бывала у них дома, может, они играют.

— Нет, у них нету дома, они не играют, они только воруют и обманывают таких, как ты, — затрясся Арон Сергеевич.

Даже бабушка поняла, что пора сматываться. Про Арона ходили слухи, что он оплеухивает непослушных и несообразительных.

Домой тащились понуро. Мы с Бертой шептались, какой Арон дурак и псих.

Вечером зашла тетя Римма и принесла шахматы своего мужа инженера Бергсона. Он хоть и был чемпион Узбекистана по боксу, но это для того, чтоб не мешали в шахматы сидеть.

Ух и наигралась я! Это был настоящий бал, король с королевой танцевали, лошади обскакивали их по краям, по углам их охраняли ладьебашни! Королевы были в накидках из кефирных крышечек, а у королей на головах — короны из ореховой скорлупы! Но мне быстро надоело.

А к Арону Сергеевичу мы больше не приходили.

Культурности как воспитательный прием

Первый раз детская душа летит в оперу охотно. Она доверчиво надеется увидеть клоунов, буратинов, пирожные и лимонад. Она не ожидает всяких непостижимостей уму, громких звуков, протяжных криков, неуместного звона «литарвов» и других оглушающих орудий. Она не ожидает, что надо сидеть как неживой, не смеяться и хлопать только со всеми.

Ну, что в носу ковырять — так это и на «Буратине» бабушка не позволит, это даже и не осмелились бы.

Вы скажете, что меня опера не восхитила, потому как пели не очень хорошо в провинции? Это неправда, они старались, пели громко и с выражением.

Эта опера — само по себе нелогичное занятие: если надо что-то сообщить, то лучше быстро сказать, чем долго петь. И нечестно: все уже поняли и догадались, а делают вид, что не ожидали и несказанно удивлены. Или якобы не слышат, если, отвернувшись, поют. Но вежливо ждут, когда другие допоют, и не перебивают. Давали «Евгения Онегина». Я с восторгом повторяла: дают «Онегина» в опере, я еще не знала тогда, какое всеобъемлющее значение примет это слово «дают», — срок, колбасу, пинка в зад, медаль на шею, и просто — во дают!

Мне заранее объяснили, как там дело обстоит, и в чем не согласны, и что потом. Я уже умела читать, и даже Пушкина. И даже обещала, как придем домой, сразу к «Онегину» приступить. За целое блюдечко вишневого варенья.

В общем, меня нарядили красиво, почистили белые парусиновые туфельки зубным порошком, было приятно топать, смотреть, как легкая пыльца порхает от них. Бабушка тоже нарядилась, у нее для театров и похорон была вышитая жакетка, надушилась и меня духами помазала за ушами. А дедушка долго подравнивал бородку как-у-ленина и «гластук» надел.

Музыка, конечно, хорошая была.

Сначала долго играли просто так, а я свесилась на них в оркестровую яму. Это очень смешное слово «яма», в театральном случае — сгребная, для сгребания людей и музыки с ними. Но моего остроумия, как всегда, не оценили. Так вот в этой яме не было никакой дисциплины, жевали, чесались. А дирижер так вообще опоздал. Ну, потом выяснилось, что это они настраивались, это еще не сама музыка была. Музыка в театре без дирижера не бывает.

Потом меня отогнали от ямы и уже играли с дирижером, но было видно, как они там в яме. Все равно некоторые чесались и дожевывали.

Очень скучно было пялиться на бархатный занавес.

Но потом все-таки раскрыли занавес, и девушки в сарафанах и в лаптях пошли рядком и запели. К ним присоединилась в туфельках и в ночной рубашке с кружевами певица узбекской внешности лица в соединенных над переносьем бровях. Потом еще народ подтянулся, мужчины в сапогах и шляпах, хотя на сцене было лето. В общем, что и говорить, занятно было, но уж очень долго.

И страшно даже в один момент, когда Онегин Ленского убил. Я заранее поняла, что дело плохо, и зажала уши. Бабушке это показалось неприличным, и она стала мои руки от ушей отжимать. Она вообще испугалась, что я могу завизжать. Дедушка стал шипеть, чтоб от меня отстали, в этот момент Ленского-то и убили. И пели при этом. Ну ни фига себе, еще б сплясали! Ну что еще сказать? В буфете прекрасно было, пирожные с вареничной пупочкой на креме, как я люблю. Лимонад.

Как бы сейчас сказали: клево оттянулись!

* * *

Оперы бабушке с дедушкой показалось мало, и меня повели на балет. Туда же. Там, оказывается, вместе все, и балет, и опера. Меня занимало: и балет, и туалет. Но публичное стихосложение, как обычно, не одобрили.

Тоже наряжались, но дедушка не пошел, этого он бы уже не стерпел, чтобы три часа молчали. Он сам петь любил и других слушать. Дома у нас пластинок с этой оперой навалом было, ну он и остался дома, послушать надрывающихся.

Была зима, поэтому мы взяли с собой и мои нарядные парусиновые туфельки, и бабушкины «довоенные» черные бархатные.

Таких, которые со своими туфлями пришли, немного было, но считалось, что от этого, от туфлей, посетители особо культурные, а это всегда вызывает одобрение, особенно в театрах.

Я беспокоилась отдавать пальтишки и обувки в гардероб. Бабушка ходила с подругой в «филурмонию» (это мне еще предстояло в будущем), так там у одной тетки из гардероба украли лисий мех! От этого старушки так возбудились, что про музыку уже не рассказывали, а все больше про милицанеров. И возмущались, в каком обществе они живут, даже в филурмонию

нельзя с лисами пойти! Мне было приятно, что, может быть, лиса убежала на волю…

Бабушкиных знакомых в зале было много, некоторые веерами обмахивались, это зимой-то! Наверно, как с туфлями, свою культурность показать.

В общем, сначала опять пялились на занавес под музыку и кашляли, а потом началось!

Мне больше понравилось, чем в опере, хотя содержание, как бабушка сказала, было печальней. Какой-то дяденька любил тетеньку, потом она ему надоела и от этого умерла, потом он пришел назад и с ней мертвой танцевал.

Ну сами подумайте, кто ж умирает в жизни, когда надоел? Так все бы давно умерли, потому как все друг другу иногда надоедают.

Вон, Танин папа бросил Танину маму, она ему его штаны и носки выкинула с балкона, он подобрал и ушел. И никто не умер. Покричали, и все.

Но в балете не разрешают разговаривать, петь или кричать. Наверно, поэтому в балете можно умереть от несчастной любви. Красиво было на сцене: лес, замок, свет такой, как в раю. И танцевали здорово, и музыка понравилась.

Но мне было немного стыдно смотреть на сцену при бабушке. Там дядечки были без штанов и в коротких курточках. Ну я уже знала, что у мальчишек ТАМ пиписки. Но чтоб такие большие! И так наружу! Не знаю как им самим, но мне это мешало.

Во дворе, когда жарко, некоторые мужские соседи, только не дедушка, ходили в майках, или даже без, но чтоб без штанов? Да их бы поколотили и опозорили навсегда! По дороге домой в троллейбусе я не утерпела и высказала свое мнение, что штаны бы не помешали. Треники хотя бы, они же удобные, растягиваются, и прыгать можно.

Бабушка мне даже спасибо сказала, что я не возмущалась в театре. Это, оказывается, традиции искусства. Как голые скульптуры. Или голые картины.

А в филурмонии голые играют? Тут бабушкина благодарность улетучилась: ты видела, чтобы в яме в театре голые играли? Что ты идиотничаешь?

— Ну откуда я знаю? Там поют, тут пляшут и петь нельзя, в филурмонии просто играют, может, им скучно одетыми… запутали…

Сразу расхотелось быть культурным, хотелось грызть ногти, лузгать семечки и топать в пыли.

* * *

Меня долго приручали оперой и балетом, и вот наконец настало время повести в филурмонию. Видимо, бабушка была уже уверена, что я привыкла к бесштанным пляскам с мертвыми девушками (это про Альберта с Жизелем) или хорам в лаптях и ночных рубашках и стрельбой в лесу (это про Онегина и остальных). Она была уверена, что никто не будет визжать, смеяться и уползать по проходу от невыносимости происходящего. А также сказала, что мне надо смиренно коситься на остальных, чтобы понимать, когда хлопать надо.

Привычка — основа смирности поведения.

Смирное поведение — залог культуры.

И меня повели в зал имени Свердылыва. Видимо, это был такой филурмонист, раз его именем назвали культурное заведение.

Там было как в театре: бархатные кресла, буфет, звоночек, когда надо быстро прекращать кушать и идти снова сидеть в зале.

Бабушка очень хотела, чтобы дедушка тоже пошел, поэтому выбрали концерт с пением, но обещали без литарвов и стрельбы. Просто будут стоять и петь. Как обещано было, так и произошло.

На рояле играл дяденька, одетый как ласточка, с двумя хвостами, и откидывал их назад руками, чтобы не наступить себе на хвосты попой, когда садился.

Еще было несколько ласточек со скрипками разной величины.

Пела тетенька, большая и красивая, в синем платье.

Больше напоминало оперу: дяденьки все в штанах, а тетенька была одета без верха почти совсем и колыхала ими. Ну вы понимаете чем, сиськами. В искусстве всегда что-нибудь да выпустят наружу, иначе красота не войдет в душу. Вон, зайдите в музей, там вообще почти все голые.

И так она печально пела, так нежно, что хотелось спать. Сон всегда помогает, когда грустно. И можно было даже не смотреть, а просто слушать. Это мне больше нравится, чем опера-балет, а то не знаешь что делать, куда смотреть, к чему прислушиваться, мелькают все, шумят, спорят, прыгают… А буфеты везде одинаковые, с пирожными, лимонадом, чаем и даже колбасой, если кто совсем голодный.

В общем, всё, лучше в филурмонию ходить, если все равно необходимо культурно проводить время.

* * *

Как, однако, страшно в драматическом театре. Там, как в жизни, все прямо и бесповоротно.

И нет бы смягчить пением, там, или иносказанием путем балета, нет! Там прямо тебе говорят в лицо, а ты сиди и понимай.

И это как бы не они даже — сами люди со своими мыслями, которые они в троллейбусе говорят, или на улице, или даже по телефону кому-то одному, или в семье. Нет, они это тебе среди других выкрикивают, как директор на линейке или в тюрьме, чтобы все поняли одинаково.

Взрослые дядьки переодеваются пионерами, чтобы стать *«ближе к аудитории»* и *«достучаться до сердца каждого юного зрителя»*.

И вот такой волосатый пионер на сцене строго говорит другому пионеру: «Грызть ногти нехорошо». Или сейчас убежит за сцену и жизнь за родину отдаст. А за сценой уже призывно громыхают войной. Так хочется сказать ему — не убегай, там нехорошо! Нет, убежал, провалился под пол и руки так раскинул, как будто не хотел ее, жизнь, отдавать, но раз обещал, то все.

И что вы думаете публика? Захлопала ему! Нет бы зарыдать, нет! Деньги заплатили, в буфете пирожных с лимонадом наелись, что ж теперь рыдать. Они же понимают, что он понарошку жизнь за родину отдал! Сейчас умоется и тоже пойдет пирожные есть или рюмочку выпьет. Водки, например. У нас много знакомых актеров было, они так любили — рюмочку выпить и крякнуть после. Или, если они женщины, лицом передернуть, как будто лекарство пили. А потом залиться жемчужным смехом.

Не, не надо мне такой театр. Ну когда все там короли-королевны или Буратины, тут легче. Это я понимаю, я, когда сама королевна бываю, так себя и веду — надменно и возвышенно.

Но пионеры! Обычные пионеры, но с волосатыми ногами. Плохо бритые с синими щеками. Или женские пионерки с сиськами. С моралью среди хороших и недостатками среди плохих.

Тимур и его команда. О, видели бы вы эту команду! Вчера они разбойники были у Шиллера. Всей командой, и стихами говорили. И одеты были хорошо. А сейчас запинаются про воровство в садах. Стоят в сатиновых трусах, как на физкультуре.

А я еще на взрослом спектакле была. Там взаправду целовались, как в кино. Шекспир у них главный источник такого — чтоб сначала целоваться, а потом кинжалом или ядом. И все.

А еще с дедушкой в узбекский театр ходили. Там тоже про любовь, но среди старинных узбеков. Среди них целоваться нельзя. Они словами любили, через соловьев, луну, ветерок ночной. Это я понимаю, это даже детям не стыдно смотреть. И одеты были красиво.

Сколько разного искусства в жизни, чтобы от жизни оторвать

на время. Иной раз так оторвут, что бежишь назад в свою жизнь, в знакомый двор с облегчением: все на месте, никого не убили, кинжалом там, или из ружья.

А иногда так впечатлением проймут, что и назад не хочется. Так бы и плыл, убаюкивался чужими чувствами, последним касанием руки, музыкой, там.

Но занавес шелестит, а ты остаешься один, как обкраденный. Вот у них было, а у тебя нет, сейчас на троллейбусе домой, кефир с хлебом и спать.

Для культурного времяпрепровождения имеются Нестрашные Тихие Места. Они называются художественные музеи и галереи искусства. Вы только не путайте с историческими музеями — туда напихают всякого бедного, обездоленного, типа рваных штанов и рубах с помойки, ружье рядом поставят и страшные «проклымации» на мятой бумаге. А ты ходи, смотри и учись правильно расставлять жизненные идеалы — отдавать жизнь за рваные штаны против кружевов и шляп путем ружьев, криков и толпы. Это называется революция.

И с фотографий смотрят в глаза: ну что, готов? Уходишь оттуда смущенный, как будто вор ихнего несостоявшегося счастья. Ну пообещаю я в порыве не красть варенья из запасов, все равно же потом буду. И вот останутся они неотомщенные и умершие уже, а мне новое платье сошьют и пирожное дадут. Не, такие музеи можно посещать только насильно вместо уроков.

А вот художественные — это приятно. Там прохладно и нелюдно. Там красивые люди среди садов и ваз грустят, или даже если трудятся, то с радостью, с улыбкой. У нас на экскаваторном заводе работают угрюмые пьяницы, там надо такие картины вешать, чтобы они знали, как себя вести и на кого равняться, как можно радоваться своему созиданию.

Или вот на больших картинах полярники и звероловы смотрят вдаль с уверенностью, что сейчас все лисы прибегут на мех сдаваться! И природа уже почти покорена вся.

Ну старинные нищие там тоже на картинах есть, как в историческом. Но мимо страшного можно пробежать, это не в театре, когда деться некуда, сидишь зажатый культурными людьми со всех сторон.

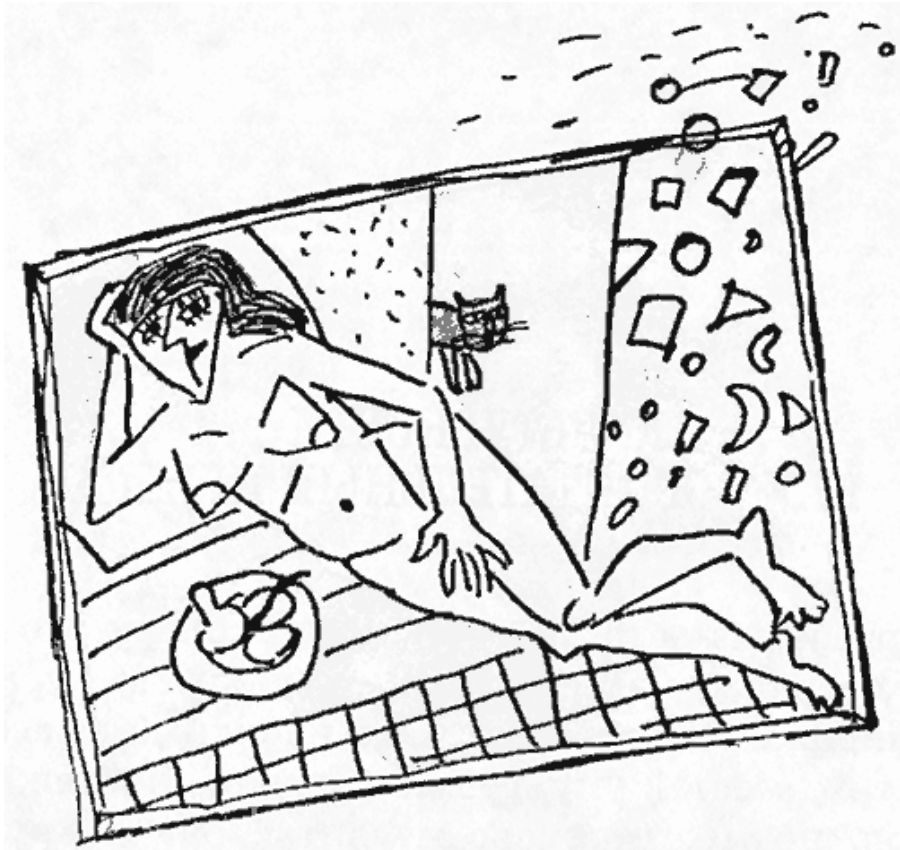
Ходишь себе, гуляешь, главное — не разговаривать громко и не хрюкать, если голых увидишь. А они там часто попадаются. Там стоит задержаться и порассматривать, где у них что, ну то самое, которое каждый день не видишь у других, а у себя неинтересно, потому что невзрослое.

Иногда целый зал голых. Это для того, чтоб люди не жалели

сильно, что им нельзя без одежды ходить в жару. Искусство вообще для того и дано, чтобы люди не сильно жалели об оставшейся за рамками этого искусства ихней жизни. Где серые макароны, некрасивые трусы и холодная пустота внутри. Где боишься засыпать, потому что от снов не знаешь, что ожидать, как от пьяных соседей.

В общем, так, исторические музеи сделаны для того, чтобы жизнь свою ценил и радостно благодарил. Туда надо ходить, когда своя жизнь надоедает.

А в художественные надо ходить, когда все хорошо, тогда еще уверенней жизнь течет. Искусство совпадает с действительностью. Тогда потом домой придешь, окинешь взором, как говорят поэты, свою квартиру, кухню, занавески, услышишь, как чайник закипает, тарелками звенят, дедушка напевает, за окном троллейбус тренькает, идешь руки мыть и думаешь — вот и ладно…



Если вы думаете, что хуже драматического театра ничего нет, вы ошибаетесь! Есть такое заведение, и оно называется цирк.

У них нет ничего святого. Все ихнее искусство — это искусство издевательства! Всеобщего, или, как дедушка говорит красивым словом, тотального!

Над человеками с коротким тельцем и ручками-ножками, над пузатыми человеками, над мишками, гусями, енотами и лошадками, даже над тиграми!

Над музыкой, из которой устраивают радостный пердеж и все должны смеяться. Там тигры писаются от страха прыгать через огонь. И это должно быть смешно так, что люди готовы заплатить за билет!

Там мишку на велике кататься заставляют! Или тюленя крутить мячик! Представьте, что им снится ночью, и как они встречают день! С каким настроением! Как в тюрьме, где они лично невиноватые. И пытки целый день — енота заставляют стирать ненужные тряпки! Просто чтобы стирал целый день, а не валялся на травке под кустом.

Самое страшное, что там ну совсем некуда деться — сидишь на свету, к тебе почти подходят кривляться и требуют смеха и душевного участия в позорных кувырканиях, паданиях, подзатыльниках и поджопниках! Когда взрослый клоун пихает маленького лилли (кажется, так они называются — эти короткие всегда-дети), зрители должны хлопать и смеяться! И даже свистеть, как хулиганы! Потом эти уродские они все прибегают толпой отомстить клоуну, накидываются на него. Ха-ха!

Вот когда мы с бабушкой ходили к психическому доктору Вазгену Арутюновичу, у него в очереди бывали такие толстые короткие дети, над ними нельзя было смеяться, даже в кулачок. А тут их выпустили без родителей — и все смеются, как они кувыркаются на свободе. И пальцами показывают.

Пришлось всем закричать, что над больными смеяться нельзя, но все еще больше стали! Эти лилли сначала испугались, но потом стали усиленно кувыркаться. Чтобы не заплакать! Хотелось побежать на круглую сцену их жалеть и обнимать, но нам пришлось быстро уйти.

Вот где революция нужна! Вот чей мир надо разрушить до основанья! Снести весь этот цирк, как Бастилию, к чертям собачьим! Обкакать его и поломать, как Зимний дворец!

До основания, а затем построить там кафе с мороженым и сахарной ватой.

* * *

Среди искусств совершенно отдельно стоит газеточтение. Это каждодневная насущность жизни.

И полезность. В туалете газеты используются как искусство чтения и как гигиеническое подтирание.

Так вернемся к газеточтению. Там в туалете я научилась читать аккуратно нарезанные дедушкой кусочки газет.

Надо сказать, что, в отличие от оперы и балета, газеты радовали. Успокаивали окружающий мир. Придавали уверенность. Говорили ясно, что надо делать. Но взрослым.

Мне не все было понятно. Например, *пролетарии всех стран, соединяйтесь*.

Пролетарии, как дедушка сказал, — это бедные рабочие. Ну ладно, верю, у нас рабочие были бедные. Вон, Васин папа, когда пьяный, спал «на голой сетке без матраса». У него даже кепки не было, как у американских пролетариев на фотографиях. Но где и как они соединятся и для чего?

Раньше они соединялись для революции, Зимний дворец покорить, «Аврору», Кремль и дворец бухарского эмира. Но ведь все уже, покорили. Если они сейчас соберутся у нас, то что покорять? Кинотеатр разрушат? Или дворец пионеров? Это настораживало.

И где они соберутся, если «всех стран»? Хорошо бы в Москве, у них там большой стадион есть, а у нас и так места немного. Они пьяные будут, как Васин папа? Представляете, пролетарии всех стран в одном месте — и пьяные, как один Васин папа. Ну хорошо, если не пьяные и не покорять, они возьмутся за руки плясать? Как лебедятки в балете или как? Или просто будут ходить туда-сюда с флагами в виде демонстрации?

В общем, ничего понятного из этого не выходило. Обещающего тоже. То есть проще об этом не думать еще некоторое время. Там или ясно будет, или пролетарии угомонятся.

Лучше рассматривать фельетонные картинки про толстых буржуев и читать про урожай. Его всегда было много. Даешь урожай и обильно чтоб! Кому и кто? Его же не дают, его продают на базаре, а в магазине урожая нет.

Из газет получалось, что мы все живем хорошо и правильно и навсегда. А кто буржуи и неправильно, тем пролетарии хвост накрутят.

* * *

Пис*а*ние — это тоже искусство. Тут есть два различия в

методе: насильное писание и свободное. Со свободным всегда все ясно, свободное непедагогично, оно ничему не учит. Если в результате свободного писания получается что-нибудь хорошее, то сразу других несвободно организуют на чтение в школе. Вот так или иначе порождается несвобода.

Так вот, насильное писание — самое сложное искусство, оно включает борьбу с собой и обстоятельствами, исхитрения, покорность, но и усидчивость, и благие намерения.

Вот как с Достоевским: его запирали в комнате и заставляли писать, чтоб не ходил в карты играть, а это вредно и позорно. А так вон стал писателем, мрачным, правда, но великим. Он для взрослых писал, у них страшное и мрачное очень даже ценится, а то своих горестей в жизни не хватает. Сам старух не убивал, так хоть придумает, как другие отважились.

Многие писатели тренировались на дневниках. Ведь интересную мысль надо подкарауливать. Пока еще она придет, так и писать можно разучиться. Вот они и писали каждый день: встал, поел, отметил недостатки избранного другими пути, отправился гулять в надежде на мысль. У великих писателей таких дневников — тома. И все читают как полезное.

Вот другой писатель Толстой сказал гласом народа, который оглядывал барскую библиотеку: *писали, не гуляли.*

Моя бабушка без задней мысли вырастить меня писателем подарила мне толстую тетрадку и велела вести дневник. Писать, не гулять.

Сначала там были мысли, но все какие-то глупые: про кукол, там, руганья во дворе, что ели на обед. То есть летописецство.

Но это бабушке показалось недостаточно полезно и развивательно. То есть для Пушкина достаточно про обеды и шлафроки писать, а для меня нет. Надо было придумать мысли, которых еще не произошло ни во дворе, ни в школе, ни на базаре.

Например, посмотреть кино и потом понять его словами. Ну вот да, смотрела кино. Про большевика под дубом — в смысле он его поддерживал во время дождя и кривлялся лицом, потому что ему тяжело было. Ну что тут напишешь: прелесть что за кино!

Лучше про учительницу, как она пролетария спасала вечерней школой. Там да, прелестей навалом — и сталь варят, и яблони цветут, и музыка хорошая. Полстранички получилось написать: любовные мысли, как Блока за любовника приняли по необразованности. И как она пролетария стыдила в беседке при других за то, что в школу перестал ходить, с гитарой и цигаркой под окнами шумел. Очень правильное кино, там веселились плохие и напрягались хорошие.

Но с дневником меня надолго не хватило, пошли картинки,

каляки-маляки, воровство чуженаписанного, чтобы отстали поскорей…

Вспомнила вдруг, что есть еще один вид искусства — спорт. Искусство, оно ведь к чувствам взывает, да? И к размышлением, да? Вот и футбол так. Можно размышлять исторически, как бы оно повернулось, если бы эти не поймали мяч головой, а другие поймали, но ногой? И чувства — да, из души рвались громко, даже у трезвых.

Футбол посильней, чем кино, в смысле народности и посещаемости.

У нас, когда футбол, на стадион валили мужики, милиция стояла по краям. Вот так бы в филурмонию валили с милицией на Бетховена, сонаты слушать! И на стадионе так орали, что в соседнем доме посуда звенела, а старые бабки думали, что опять «землитрысение». Вот бы в филурмонии свистеть, одобрять солирующего! А в антракте стоять и скандировать: «БЕТ-ХО-ВЕН, БЕТ-ХО-ВЕН!» — это те, которые идеалисты. А которые за наших, за пианистов болеют: «КЕ-РЕР, КЕ-РЕР!»[2] Потому что музыку играть — это соревнование с композитором. И не спорьте, я в музыкальной школе училась, по себе знаю. Это борьба, смертельный поединок, но немного лучше бокса.

Меня никогда не водили на футбол и на бокс. На бокс я бы и сама не пошла — это примитивное искусство первобытных людей, когда у них не было дружбы и взаимопомощи, а только урвать, отнять и побить. Но интересно смотреть, как боксер бьется с грушей. У Лилькиного папы инженера Бергсона, чемпиона Узбекистана по боксу, была груша, он ее молотил так быстро, как в мультфильмах показывают. Он ее волочил во двор, на дерево вешал и учил мальчиков по ней бить. Пьяный Васин папа садился поодаль смотреть и подбадривать и в эти светлые моменты своей жизни переставал огорчаться, что инженер Бергсон — еврей, даже любил его и поощрял. Лилькина мама теть Римма не одобряла боев, с зеленкой выходила, проигравших мазать. Зато инженер Бергсон всехний герой был.

Спортсмены — это всегда герои и выгодные женихи для народных девушек. У меня в семье это не ценилось, у нас считалось, что женихи должны быть интеллигентные. Лилькин папа — единственное исключение, и боксер, и шахматист, и инженер. Но он был уже женат на теть Римме и как жених не рассматривался. Было мнение, что остальные спортсмены сплевывают на землю, ругаются матом, шаркают ногами, гогочут и толкаются. Это было неприемлемо для женихов «в нашем кругу».

В этом «нашем кругу» только альпинисты ценились. Потому

что это единственный духовный спорт — залезть высоко, чтобы просто посмотреть, без цели кого-нибудь побить или обидеть.

Мне, кстати, спорт и не нравился: обидеть, показать, что сам лучше. Вот представьте: в оркестре скрипачи соревноваться будут между собой! Что за музыка пойдет?

Все вместе потели, как в оркестре. А тут одному — медаль, а другому — фиг тебе, иди домой, плачь и сопли вытирай…

От такого нет музыки, доверия и вообще гармонии в мире, где и так уже все немилосердно устроено.

* * *

Те, кто старые уже, помнят, что ленин считал кино самым важным среди всех искусств оперы и прочего. Это в каждом кинотеатре написано было большими белыми буквами на красном. Мемориальная доска мысли, так сказать.

И люди это понимали и соглашались. Они в кино ломились! Не то что в оперу, где иногда вообще мало кого было, ну культурных человек сорок и колхозники подневольные.

В кино, чтобы на американский фильм попасть, надо было или в очереди стоять, или тетю Раю просить. Она там уборщица была и нас бесплатно пускала на первые ряды. На них было спокойно. Потому что вопреки заветам ленина в кино на задние ряды садятся хулиганы, свистят, ругаются и орут, даже щиплют дам в темноте. Они не кино смотреть приходят, а безобразничать. Иногда даже прекращали кино, врубали свет и милицанер приходил грозиться: всех выведу!

Кино дешевле оперы: 10 копеек детям, а остальным за 20 копеек или за 40, если хотят в лучших рядах сидеть, где еще не щиплются хулиганы, но уже и головой вертеть не надо, чтобы краешки кина увидеть. Иногда иностранные фильмы были за 30 копеек. Даже на самые плохие ряды. Иностранное всегда лучше считалось, даже индийское, хотя они тоже бедные. Но все равно ломились. Это же вам не филурмония за рубль двадцать, где ничего не происходит, а сидеть тихо надо.

Так вот, купишь мороженое, займешь первый ряд всем двором и сиди себе хоть два кина подряд.

Убежать можно или под стул залезть, если страшно или неприлично. Можно лицо руками закрыть и в щелочку глазом подсматривать. И культурничать не надо — разрешается громко смеяться и даже свистеть, все равно на хулиганов спишут.

Прав был ленин. Хорошее искусство.

Приметы

У меня в детстве не было хороших примет. Потому что хорошее не бывает просто так, а достигается трудом и лишениями.

Приметы были одна другой хуже.

Разбитое зеркало — да, один раз кто-то умер.

Но один раз, а вот с птицами, залетающими в окна, — это много раз. И умирали, и война, и аресты — обо всем за пару дней предупреждали птицы назойливым появлением.

Когда на балконе по перилам прохаживалась бесстрашная голубка, я замирала от ужаса. Отгоняла ее, а потом долго размышляла, считается ли успешное отгоняние достаточной защитой от смерти, или войны, или ареста.

Бабушка не любила размышлений на этот счет. Не влетела — все, ничего не будет. Особенно ареста. Со временем она совсем расслабилась по этому поводу. И насчет войны тоже немножко, тогда Хрущев показывал миру кузькину мать, и всем старшим казалось, что мы отразим, если что, и вообще никто не сунется в Ташкент и черт с ней с Кубой.

Но смерти боялись. После птичьего залета звонили родственникам и писали письма.

Один раз к нам залетела раненая птица и сразу умерла. Прямо посреди комнаты — упала, дернулась и умерла.

Мы похоронили ее во дворе, и весь день меня одолевали одинокие размышления: если птица умерла, так это, может, вместо назначенного родственника или знакомого? Или даже далекого благодетеля типа Хрущева? Если, как говорит Миллерша — глубокорелигиозная и высокодуховная женщина, Христос принял на себя наши грехи, так, может, эта птица приняла на себя нашу смерть?

Это были тяжелые вопросы. Спросить не у кого было. Дедушка смеялся над моими страхами и орал на бабушку, засоряющую мне мозги предрассудками. Бабушка начинала рыдать и перечислять несчастья. Лилька и Берта затыкали уши, орали и не хотели со мной играть. Тетя Римма возмущалась правилами жизни вообще, которые куда хуже, чем птичья смерть. У Гегеля ничего такого не было написано. И с доктором Вазгеном Арутюновичем не особо хотелось делиться сомнениями — опять начнет Буратину тыкать, который не боится. А чего ему бояться, он же деревянный.

Если б я была деревянная, ни за что не хотела бы оживать потом.

Про секс и детей

Долгие годы я была уверена, что дети рождаются из пупка. Он раскрывается, как цветочек, они вылезают, кто как может: головой, ногами. Они сами стараются, но им помогают, конечно. А потом пупок завязывают, и все. Не хлопотно даже. И красиво. Когда я узнала правду, я долго отказывалась верить.

Не только потому, что никакие бы дети ТАМ не пролезли бы. А еще и потому, что ну не может быть это все так позорно и ужасно. Ведь не один же человек в комнате, когда родит, там еще люди, они же ЭТО видят, ТУДА смотрят! А ТАМ — некрасиво и стыдно, и ТАМ рядом имеются дырки для совсем другого. А как младенчик заблудится и испачкается или захлебнется, ну, вы сами понимаете, чем? Отсюда выражение «наелся говна» становилось совсем страшным. У меня на виду была только бабушка и никаких матерей, поэтому я была Дюймовочка. И все мне верили. Даже Лиля, у которой мама была врачом для ЭТОГО.

Как-то раз мы пошли к Лиле, когда ее мамы не было дома, смотреть медицинские книжки про рождение детей. Как же это нелепо и страшно, скажу я вам!

А еще детей пугают драконами и ведьмами, глупости какие, книжку закрыл — и всё, ушли драконы! Даже милиционер и пьяный инвалид на трамвайной остановке не так страшны. От них можно убежать.

Ну ладно, когда несчастный младенец хочет родиться и лезет сам, а когда он не хочет, а его щипцами за голову тянут? Вы бы видели эти картинки!

Это не просто страшно, это еще так в животе холодно, и слюни глотаются сами по себе.

А Лилина мама пришла домой и стала смеяться. И говорить, что это не страшно, что всем помогут, если что, на то они и врачи. Но если все равно страшно, то это будет совсем не скоро.

А Ира решила поиграть в «родить» со своей маленькой голенькой куколкой. Засунуть ее внутрь, а потом вытащить обратно.

Как у них кричали дома! И Лилина мама к ним бегала. Ее мама и папа потом не разрешали Ире с нами дружить никогда, а у меня всех маленьких кукол (их у меня целых две было) отобрали.

Неудачно как-то придумано с этим рождением.

И на беременных было страшно смотреть. Вот старшая Борькина сестра Лизка была сильно беременна. Она медленно плыла по двору под руку с усатеньким худышкой — мужем. Муж, ха, разве это муж? Так, соплей перешибешь.

Но как ни издевайся, а тайное уважение к нему было: ишь, как у них с Лизкой. «Он Лизке зафигачил», — с гордостью говорил Борька, он вообще этого родственника любил больше всех в семье: этот муж не бил Борьку и помогал ему делать уроки. Он сам был ученый и Лизку заставил учиться, диплом за нее писал, пока она тут охала.

Смотреть на Лизкин живот было страшно и немного стыдно. Как будто тайны все вывалились наружу.

Неужели и мне такое будет? Так вот буду на глазах у всех тащиться по жаре, еле дыша, уродиной толстой.

Поделиться этой тревогой было не с кем. Борька важничал. Образованная жизнью Танька всегда делала на меня презренные глаза: ну ты дура, психическая — и дальше по настроению…

Бабушка не одобряла не состоявшихся еще ужасов жизни. Спросить что-нить такое у нее означало нарваться на визит к психиатру Вазгену Арутюновичу. Я его очень любила, но в очереди иной раз такие страшные попадались дети, что никакого потом удовольствия в беседах.

Оставалась одна надежда на тетю Римму, детородного доктора, маму противной Лильки. Надо было поймать тетю Римму без Лильки, когда она присаживается на лавочку после работы и курит свою вонючую папироску «беломорию».

А что спросить-то? Сказать, что боюсь быть такой беременной? А может, и обойдется, глупо сейчас спрашивать.

Однажды как-то так получилось, что я осталась на скамейке вдвоем с тетей Риммой.

— А как Лиза себя чувствует, раз она беременная такая?

Тетя Римма пустилась в объяснения, что Лиза слишком много пьет воды и ест еды, и вообще пора бы ей уже родить, и что у ней давление…

Ага, значит, если бы Лизка не была такая обжора, все было бы лучше. Ну тогда ладно, поживем еще, может, и правда обойдется…

* * *

У нас с бабушкой и дедушкой ночи были тихие. Вечером старики желали друг другу спокойной ночи, ложились каждый в

свою кровать и видели, наверно, каждый свои отдельные сны, потому как утром спрашивали, что снилось и вообще как спали.

Но так было не у всех. У некоторых родители спали в одной кровати и возились по ночам — толкались, хрипели, пыхтели, пугали, будили и замирали всех ужасом.

Равшан боялся, что мама умрет, ведь у нее была «асма», она даже дышала в специальный пузырек. Ей, наверно, было вредно так надрываться ночами, но, когда он пожаловался своей бабушке, она его стукнула и велела заткнуться навсегда.

Больше всех про ночные пихания у нас знала Лилька. Ее мама была доктором в «рыдоме», большом зеленом здании, откуда приносили детей.

Лилькина мама, большая, громкая, усатая женщина с мужскими руками, была нашей дворовой королевой: она готова была отвечать на все вопросы, снять босоножки и бегать с нами по двору, она знала считалочки и дурацкие песни, ей не стыдно было орать с нами:

Идет, идет по крыше воробей,
несет, несет бутылочку соплей.

Ну, это я отвлеклась.

В общем, Лилькина мама сказала, что во время этой возни папа передает маме семечко, из которого потом в животе заводятся дети, как арбузы, растут и вылезают сами, когда дозреют.

Борины родители пихались не зря: у него уже были два брата и сестра. Он каждый раз гордо сообщал: сегодня ночью возились! Ждите, мол, кого-нибудь. Повезло же Борьке, дома у него шумно, весело. Ихняя бабушка всегда угостит сухариком, когда к ним придешь. Моя бабушка со швейной машинкой к ним ходила: они вместе из старого перешивают, а мы возимся на одеяле с малышней.

У Иры родители толкались часто, но братьев и сестер не прибавлялось. Впрочем, она не печалилась, у нее было много кукол.

В общем, мы призадумались, но все равно оставалось много непонятного.

А почему в темноте? Как они видят семечко и не теряют?

А где папа его берет? А мама его ест или что?

А Боря говорил, что все это фигня, семечко передать раз-два, тихо и сразу, а тут вон как сопят и потеют.

Ира не верила совсем: уж кто бы говорил про семечко, у самой Лильки никого нету, ни братьев, ни сестер, только пара

кукол, медведь и Буратино.

Мне было нечего сказать, да меня и не спрашивал никто.

Но, размышляя, я поняла, что все не так просто. Вот тут, видимо, и есть Бог. Он семечко дает.

Если хочет, правильное семечко: вон Таня какая красивая растет, с шелковыми волосами.

Или неправильное, как у родителей Янулы: ее брат был уже усатый и большой, но не научился ходить, ползает скрюченно и орет басом с балкона. Видимо, именно тут и надо Бога бояться.

А какое право он имеет, этот Бог, так вот семечки раздавать, за что?

Дедушка всегда говорит, что Бога нет, кто тогда это семечко Янулиным родителям подсунул?

Как хорошо, что мои бабушка с дедушкой у него никаких семечек не берут.

* * *

Как моя бабушка в нежном возрасте узнала про секс?

Ее гувернантка сказала приблизительно следующее: когда наступит твой черед, ты выйдешь замуж. Ты пойдешь со своим новым мужем в кровать, и там с тобой произойдут неожиданные вещи.

— Какие?

— А вот когда произойдут, тогда и узнаешь.

Это единственный раз, когда моя бабушка говорила со мной про секс. Интересно, что она думала, откуда я узнаю?

В подвале

Вообще-то я не всегда жила в этом большом волшебном доме. В раннем детстве я жила в подвале. Теперь в этой комнате КПЗ, а в доме вообще отделение милиции. Ну вот представьте себе, что вы кот, даже котенок, чтоб еще жальче было. И вам надо жить в темной тесноте слов. Среди слов керогаз, щи, подвиньтеся-гражданочка, закрой глазки. Даже закрыть глазки не поможет. Ну хорошо, посидит этот котенок у бабушки на коленках, но не все время же сидеть?

Там была длинная лестница на улицу, а потом еще длинная лестница вверх на общую для слонов кухню, но я там никогда не была. Хватило с меня улицы. В комнате можно было сидеть под столом и рисовать на стене — карандашом, а потом раскрасить бабушкиной помадой. Бабушкина подружка говорила, что советская помада воняет собачьим салом. Я не застала те времена, когда помада пахла иначе. Хотя, в общем, ничего особенного. Суп, в котором есть потроха, так же пахнет.

Можно было залезть на подоконник, где счастливым занятием было рассматривать ноги проходящих.

Особенно интриговали меня одни сапоги с плащом, синим, прорезиненным (но это слово удалось мне сильно позже). Страшные были сапоги, шли неотвратимо. Что там выше было? Дракон, наверно, или Гитлер какой.

Как-то я бабушку спросила, а она ласково так сказала, что это наш милиционер, милейший дядька, армянин и очень высок ростом.

Кто такие «милицанеры», я уже знала, они бегали, свистели в свисток, к ним обращались, когда сами не знали что делать.

Но во дворе считалось, что их надо бояться, ну я и боялась. Я боялась бы их и без обстоятельств.

Все-таки спокойнее, если человека в лицо видишь, а не в сапоги.

Что касается «армянина», то это слово я сначала и не поняла. Конечно, следующим вопросом было, кто такие «армянины»?

Бабушке трудно было это объяснить.

— Ну, у них есть свой язык, они едят голубцы в виноградных листьях.

Насчет языка я не согласилась. Сапоги, слышала я как-то, разговаривали над нашим окном на русском языке. А голубцы меня заинтриговали. И, гуляя на бульваре, я спрашивала чужих взрослых: а вы голубцы во что заворачиваете?

Если отвечали, что в виноградные листья, тут я ликовала:

— А, так вы армянин!

— Ах, какая умная девочка! Политически грамотная и столько знает!

Но если не армянин, и не голубцы:

— Она у вас что, больная, да? На голову, да?

Я долго считала, что национальности различаются по еде.

Потом, уже далеко, нашлось много людей, которые пытались убедить меня в другом: что одни величне́е других, добродетельне́е, милосерднée, историчне́е, зловреднée, жаднée, ну и вообще лучше́е-худше́е толпой, стадом.

Когда война, очень трудно не соглашаться.

А когда войны нет, легче быть благородным.

* * *

Там недалеко был бульвар, сухой давно фонтан, гипсовые сталинские счастливые дети плясали вокруг. Меня туда водили гулять, европейское место, как потом бабушка вспоминала. Там ей казалось, что зонтик у нее кружевной, легкие туфельки, я — нарядная послушная девочка, и пирожные «пралине» откусываем аккуратно. Ну а потом назад, в счастливый двор, в подвал — нашу счастливую комнату. Наше окно выходило на улицу, ведущую к рынку, мои любимые часы — сидеть на подоконнике и рассматривать идущие ноги, ожидать знакомых ботинок, калош, краешка плаща.

Почти все истории моего детства начинаются так: к нам во двор зашел нищий (беженец, старик, инвалид…).

Принц на белом коне или просто какая фея — так никогда.

Так и думалось мне, что на самом деле этих принцев нет, а феи — где они, феи? Представить жизнь без них было совсем уж невыносимо, поэтому они приходили во сне, спотыкались там, в темном дворе, о всякую необходимую для жизни дрянь типа дров, сортирного угла, колонки… ну и отваливали, обиженные.

А днем во дворе были мы. Часть из нас, постарше, твердо стояла на ногах. Она знала все, и главное: как? Вот это «знать как» остается для меня загадкой даже спустя пятьдесят лет. Но я отвлеклась на философию.

Можно подумать, что вот жили во дворе счастливые люди, а к ним вдруг набежали проходимцы и отняли счастье.

«Всё отняли (кто? когда?)…» — причитала фронтовичка Файруза. Она никогда не покидала Ташкента, но потеряла ногу во время войны. Поэтому считалась фронтовичкой, я придумывала про нее и рассказывала гостям всякие небылицы: и разведчица

она была, и парашютистка, — преданный родине ребенок наслаждался собственной верой. Бабушка горестно вздыхала и покручивала пальцем у виска, но я как бы не видела. Файруза причитала, как пела, беззлобно, смешивая татарские и русские слова…

Как-то она приковыляла на лестницу, ведущую вниз к нашей комнате.

— Жень-апа, там тетка воет.

Вот оно, фея! Ну, может, злая колдунья, раз воет.

Я забилась под стол, у меня там любимое место было, бабушка надела калоши и решительно зашлепала наверх.

Надо сказать, что от природы я была труслива, мне нужно было ясных правил жизни, без неожиданностей. И свободы тогда не нужно было совсем. Потому как она в те времена и там ничего хорошего не предвещала.

Ну я уж не помню подробностей, и лет мне было мало, чтоб понимать сложности жизни, но фраза-головоломка запомнилась мне на всю жизнь: *«Они на себя ордер переписали, а Мотя в психлечебнице».* Посреди двора рыдала чужая женщина, соседи толкались.

— Милицый позват! — вопила Файруза.

Те, кто твердо стоял на ногах, будучи старше меня года на три, деловито объяснили: ихние братья вселились, а этих выгнали. А Мотя у них психический.

Потом гордости моей не было предела: дедушка мой Минахмед Садретдинович с милицией унял супостатов. Тетку умыли, водворили назад, бабушка пошла вызволять Мотю…

— Минахмед-ака гэрой, — пела Файруза. (Вот оно, на белом коне…)

Нет их уже никого.

Печальномыслии об основах бытия

У меня часто были такие мысли, что черт бы меня побрал за них. Я вообще себе совсем не нравилась никогда. Вот Мальвиной быть или Кондитерской Девочкой с Откусанной Шоколадкой в гастрономе на стене — это я с удовольствием. Петь весело и приятно. Порхать. Говорить приятное и вовремя.

Некоторое время удавалось отгонять мысль, что вот единственная *«объективная реальность»*, как Гегель написал, — это я и есть. Там, где я есть, и тогда, когда я есть. И если не навсегда, то потом еще хуже будет — черная такая, холодная пустая смерть внутри земли. И не увернешься оттуда к Снежным королевам в санки.

Ну сейчас, конечно, все не так. Но эта неуклюжая девочка Лариска сидит на шее — невесомая такая. Призрак уже.

Смерть занимала мое воображение.

Она, конечно, и для взрослого — сложная штука.

Про смерть интересно думать в темноте, когда все уверены, что я сплю.

Она состоит из трех неравных частей:

Первая — короткая и неявная — собственно смерть.

Вторая — утомительная и скучная — похороны.

Третья — хлопотная, долгая и приятная — поминки.

Сама смерть, сколько про нее ни думай, ничего не проясняет. Даже если ее увидеть. Смерть тайно связана с душой.

Что такое душа? Это когда хочется варенья или не хочется чистить зубы, когда хочется пойти с дедушкой собирать желуди или, уткнувшись бабушке в шею, слушать медленные стихи. Про душу никогда не знаешь, что она захочет или подумает в следующую минуту. И что она повелит делать рукам и ногам.

Если просто душу вынуть — это еще не смерть. Я вон сколько раз вынимала всю душу бабушке чертовым характером, ну и что, она же не умерла?

Душа сама должна устать жить. Тоже, в общем-то, не всегда. Устал — заснул, проснулся со свежей душой.

Как это говорят: душа его отлетела… А сам-то где был? Почему не следил? Не ловил?

Как настойчиво говорила во дворе одна девочка, у которой бабушка умерла, ее душа икала, и Бог ее забрал. Да, икать страшно, кто же спорит…

Все считали, что с Богом не поспоришь, забрал душу, и все тут. Мою всегда желающую варенья душу себе заберет, чтобы самому варенья хотеть? Да он лопнет, столько душ, и все хотят…

А у нас гнусавый ябеда во дворе. Его злую душу тоже заберет?

И что он потом с этими душами будет делать? И ТАМ У НЕГО моя душа опять будет рядом с ябедой терпеть?

— Какая глупость! — возмущался дедушка. Сказать, что души нет, при бабушке он не решался. Считалось, что я пойму, когда вырасту. Так что надо было расти очень осторожно, чтобы чего-нибудь страшного нечаянно не понять.

А вот остальные части смерти были явнопонятные.

Похороны — это такая странная игра с мертвым, которого называли усопшим, покойником, трупом, преставившимся — в общем, кто как хотел. Мне нравилось «усопшийся», ласково так.

Душа-то отлетела, а вот тело усопшегося, как большую покорную куклу, наряжали, клали в ящик на столе, садились рядом и выли.

Когда у нас умер сосед — пожилой молчаливый дядька, — можно было наблюдать в приоткрытую дверь эти нелепые игры. Его обтерли тряпочкой и надели на него костюм с галстуком.

Да он всегда ходил по двору в пижамных обвислых штанах, майке и соломенной шляпе, шаркая тапками и обмахиваясь газетой! Куда это он в костюме собрался, без души-то, которая уже отлетела? Галстук вообще был не его, а дедушкин. А простыню в ящик дала другая соседка. Все восхищались ее добротой — отдать новую простыню. Действительно, это было неслыханно, простыни у нас всех были латаные, это можно видеть, когда их сушат во дворе. У нее такое сокровище, а она отдала. В жизни этот усопшийся не лежал на новых простынях, ну теперь полежит.

А его медали на костюм не прикололи. И кольцо у него было — тоже отобрали. И главное, уверенно так копошились, знали, что надо делать.

Зачем, вы думаете, его так наряжали? Чтобы зарыть в землю нарядного такого, костюм испачкать…

В общем, второй этап обращения со смертью лишен смысла.

Вы скажете, что наши детские игры тоже лишены смысла. Да, но у нас в конце можно хоть выиграть, а он-то что выиграет, один, зарытый в землю в костюме и галстуке? Дедушка всегда осуждал бессмысленное, а тут, судя по всему, его не послушали. Это потому, что он не кричит никогда. А вот поминки — это да, это я понимаю. Жаль, усопшийся не участвовал. Ему тоже налили и пирога кусок положили, но душа не пришла. Потом его кусок съели.

Во дворе накрыли столы, близкие хлопотали и отгоняли детей, неблизкие кружили возле и выглядывали за ворота. Идут-

идут, ну наконец!

Усопшегося жену, нарядную, в черной кружевной накидке, вели под руки. Мы боялись, что она тоже умрет, и еду отменят. Но она выпила водку и поела, очень даже развеселилась и болтала без умолку.

Сначала все говорили, какой усопшийся был хороший. Потом забыли про него и стали интересоваться, если к вдове подселят кого-нибудь. Не жить же ей одной в двухкомнатной квартире, когда кругом все нуждаются…

Она предлагала кому-то его зимнее пальто и ботинки.

Наконец, все смешалось, все заговорили разом, никто не следил за нами, и уже можно было безнаказанно таскать пироги со стола…

* * *

В жизни меня всегда занимали парадоксы. Парадокс — это когда так и не так одновременно. Например, жидкое мороженое или лежачий столбняк. Или, например, более сложно: какашки и душа. Ведь если ты не помираешь, в туалете душа тебя не покидает, а она возвышенная, хотя ты ойойой чем там занимаешься.

Парадоксы останавливали на пути к понятному направлению жизни. Правильность — когда проживаешь жизнь менее мучительно, чем могло быть. Это нередко зависело и от остальных тоже, не только от себя самого, но с других взять нечего, это уж как временно попасть среди них.

Бабушка вообще и всегда пугалась моих мыслей.

Особенно мыслей о бесполезном и неполезном.

Это, кстати, разные вещи. Бесполезные мысли — это когда ты вырастешь большим, и тебе они не пригодятся, ты не заработаешь на жизнь. Ведь жизнь тебе не просто дали, не спросив, ты ее обязан продолжать по ихним правилам — зарабатывать деньги и на них кушать.

Неполезные мысли — это которые не дают ни уважения окружающих, ни признания родины. Последнее может быть даже опасным.

Если продолжать ихнее учение далее, то лучше всего было быть базарной дурочкой Дуськой.

У нее были буратиничьи мозги — божье наказание. Да чтоб всех так Бог наказывал! Еще один парадокс, заметьте себе!

У нее всегда была еда, плюшевая жакетка, чулки — и на ногах, и еще из карманов висели. У нее был серебряный шарик на

резиночке. Ее нельзя было обижать и отнимать шарик и свистульки. У нее была свобода, которую все оберегали от несчастья, например от попасть под трамвай.

Ее не таскали в оперу и не останавливали в публичном пении.

Ее не ждала в будущем школа в форме с пионерами, никто не надеялся, что она пойдет потом в университет и защитит «дисретации» от всех.

И родины она не боялась совсем. Наверно, она была единственным человеком, который не боялся родины.

Она орала, если кто умер, например сталин, еще много лет после того, как его снесли.

Или про Хрущева орала песни, про то, что у него где-то была припрятана такая вещь, как кукурузный х*й.

Эту песню все любили и давали ей леденцы и водку, но мне никогда не удавалось послушать ее до конца. Это было загадочное искусство, о котором нельзя было спрашивать у бабушки даже шепотом.

И если Дуськино направление жизни не было правильным, то какое было? Дедушко-бабушкино? Чтоб я тоже так страдала? Так, что даже узнать об этом можно было, только когда вырасту? Это была такая жизнь, что даже рассказать о ней у них без слез не получалось.

Или направление этого Ленина, чей памятник еще не снесли? Он, как говорил сапожник, тоже был отец народов. Кстати, не он один, еще был один такой отец — Сталин, сами знаете, как у него получилось…

Кому хочется быть отцом всех народов? Или матерью, раз уж я девочкой родилась навсегда?

Да тут вон у Ивановых четверо детей, они не знают, как с ними-то справиться, один уже в тюрьме сидит, а тут всех народов, какие попадутся? Ужас какой.

Напирали на «служить всем», да тогда себе ничего не останется. Чем тогда служить будем?

Что-то все неправильно складывается.

Как бы так забиться в угол чтобы от родины скрыться, и чтоб народы не лезли, и чтоб полезно было.

Наверно, надо научиться вязать носки и думать молча.

* * *

В школе, а это вообще ужас какое заведение, даже если хорошо учиться, всегда страшно.

Если даже все выучить, идти к доске с уверенностью, может вдруг прилететь в голову посторонняя уроку мысль.

Такая новая, такая любопытная, обидно ее потерять из-за каких-то чужих правил не пускать «ы» в «жи и ши».

Она отвлечет, эта мысль, извертится в голове и будет мешать.

Начнешь через силу лепетать заученное, училка сквозь очки смотрит, не одобряет и громко позорно спрашивает: а где это ты витаешь? В облаках?

Один раз меня зло взяло. Да, говорю, в облаках, Бога увидала, в голове у него сияние, а в руках лира. А внизу черти разбойничают.

Что с ней было! А что с бабушкой было!

Так я узнала, что давно состою на учете в психоневрологическом диспансере. Слава и даже аллилуйя доктору Вазгену Арутюновичу! Взял под крыло, ангел-хранитель! Как бы это теперь на физкультуре поидиотничать безнаказанно…

Про детство вообще

Если подумать за жизнь из детства, то никакого счастливого детства целиком ни у кого не было.

Да, бывало, конечно, временами весело, интересно, вкусно и тепло, но совсем даже не всегда.

И совсем не обязательно быть неблагодарной свиньей, чтобы честно об этом говорить.

И считать, что взрослым быть хуже, — совсем нечестно. Потому как у детей нет свободы, а у взрослого она есть.

И вообще, если взрослые считают, что им так плохо по сравнению с нами, зачем они нас родили? Чтобы им было с кем взрослое несчастье разделить? Подумали бы сначала! Спросили бы нас, что у нас внутри, когда мы вечером засыпаем или сидим и думаем…

Вот, например, у моей соседки Тани разводились родители. Они ей всегда говорили, что любят ее больше всех на свете. Но любовь сама по себе — несильное чувство. Нелюбовь — гораздо сильнее. И они превращали свою жизнь в нелюбовь так упорно, что даже посуду не жалели, даже любимые Танины чашки разбили. Таня потом собрала осколки в коробку.

А потом Таню прогнали жить к тете, от нас далеко. Ей там даже считалочки считать не с кем. Как она там была без нас? Это для того, чтобы она не видела родительскую междунелюбовь. Но тогда она любви к ней самой тоже не видела.

Или, например, Васю драли просто так. Отец его шел с работы и уже готовился Васю драть. Вася у нас спасался, а мой дедушка обещал его отца в тюрьму посадить. Но другой сосед сказал, что тюрьма ему не поможет, что его, этого отца, надо сильно поколотить самого. Что и сделали. Но тот даже и не обиделся. В общем, часто били отца, чтобы он редко бил Васю. А Васина мама сама прибегала предлагать отца этого бить, когда надо. Как вам нравится Васино счастливое детство?

А Динара умерла. Она перестала выходить во двор, мы к ней пришли, у нее было лицо какое-то голубое, и она не могла есть. Потом ее забрали в больницу, и она умерла. Говорили, что она в Царстве Божием. А ее спрашивали, хотела ли она туда? Без сестры, без родителей, без своего коричневого медведя с красным язычком?

Жалели ее, убивались-плакали, но были уверены, что ей сейчас лучше. Как будто сами там побывали, в Царстве Божием.

А Равшан любил лягушек. Он их не мял, осторожно держал в кармане, кормил червяками. А его бабушка всегда за это на него

кричала и даже его любимую лягушечку раздавила. Прямо у него на глазах. Он ее соскребал потом и плакал. Как будто эта лягушечка бабушкино ела.

И ничего при этом нельзя такого хлопотного для взрослых. Мы же им не мешаем, когда они хотят водку пить и песни орать, или ругаться с балкона, или возиться в темноте. Они считают, что для нас живут и работают, не покладая рук. Это неправда. То есть, если бы не мы, они бы гуляли целый день и цветы нюхали. И не работали бы, и не стирали, и кашу не варили.

Погуляли бы неделю и умерли потом от голода и грязи.

А мы бы смотрели на них из Царства Божьего.

* * *

Чтение чужих рассказов, наблюдения за жизнью и подслушивание взрослых разговоров составляют основу детского познания окружающей жизни.

Знание дает возможность поставить жизнь на колеса правил и уже дальше катить в ней осторожно и осмотрительно.

Образцом жизни для меня служила жизнь стариков.

Иногда в кино я видела, как скачут на конях, стреляют, бегут, ездят быстро на машинах или воюют, — это все не имело к нашей жизни никакого отношения. А вот собирание желудей на трамвайной остановке, приготовление лапши, радио, кефир, газетные вырезки и наблюдение за небом, если самолет пролетит, — это имело. Мне хотелось как-нибудь проскочить ответственную и решительную взрослую жизнь и скорей состариться миленькой старушкой.

Жизнь стариков похожа на жизнь маленьких детей, ко взаимному уважению. У нас одинаковые цели жизни на каждый день, разумные и ясные. Мы не хотим ничего такого, что не пригодилось бы ежедневно.

У нас одинаковые радости от солнца, еды и ветерка. Мы не ходим на работу, не ездим далеко одни.

Мы обнимаемся вечером, когда слушаем радио. Мы неуклюже танцуем и смеемся просто так. Мы застегиваем друг другу сандалии и пальто и подкладываем большие вишенки на тарелку. Мы оба тайно знаем, что это скоро кончится, и каждому придется уйти в свою сторону.

Считается, что детская сторона лучше.

* * *

Я фрукт, созревший к съе́денью
Печалью и обманом,
Из темноты неве́денья
Явился слишком рано.

Сейчас вот поднимусь над всеми вами и улечу, пока вы тут в очереди гневаться стоите: кляксы, рваные тетрадки, ворованное варенье, обгрызенные ногти, расчесанные болячки.

Сейчас все упадут и умрут, если Пушкина не выучить. Можно выйти к доске, закашляться до посинения, разрешат попить из учительского стакана. Но если не перестать кашлять, пойдешь в медпункт, а там и звонок скоро. Идешь в медпункт и думаешь в окно улететь, нащебетаться всласть и лечь спать, как больной, когда тебя любят и не лезут.

Неведение обещает свободу. Не ведаешь душой границы чужих смыслов. Где она, причина, от которой так все по цепочке потянулось? Одно «нет» за другим.

Почему надо участвовать жизнью? Непонятной формой ея? Почему всегда нависает темными крылами кто-то, к которому надо идти путем уроков, мытья рук перед едой, все вовремя и к месту? Путем невопроса и невзгляда, путем толкотни и победы?

А иначе сожрет-не-подавится? Останешься на пыльной обочине, обделенный любовью со всех сторон?

Назад попросишься криком? Или молча сзади поплетешься, подбирая крошки? Боишься попробовать? Не догонишь сияющих?

А если нет?

Кем быть? Собакой, крысой? Ну в школу не пойдешь, так другие найдутся, и камень кинуть, и кусок не бросить.

Водой, ветром, нагретым камнем, горячей пылью…

Скандал

Дедушка всегда говорил про вольности в выражении чувств и мыслей: не при дамах будь сказано. При дамах — это нужно было особенно строго блюсти разговор, духовно, вежливо и беззаднемысленно.

А почему? Ведь дамы — такие же люди, тоже какают, писают и бьются на войне, пукают, сквернословят и курят махорку, кривят морду после стаканчика водки и пахнут потом в троллейбусе…

Дедушка не различал простонародных и гордых дам. Это бабушка различала: ведет себя как торговка — это считалось плохо. Или как «шарамыжница» — это вроде цыганки-обманщицы на рынке, это совсем ужасно. Как барышня — это хорошо для девочки, и как культурная или воспитанная женщина — это для постарше.

Девочки в дедушкиных глазах тоже были немножечко дамы, только на ты.

Он не говорил Берте — а ну вынь пальцы из носа!

Лильке — не ори, дура!

Мне — перестань чесать задницу!

Бабушки наши и тетя Римма — треснули бы сразу, и всё.

А у него получалось вежливо.

Типа: «Берта, дружок, а давай не будем ковырять в носу, а возьмем в руки книжку» — это любимое (или вытрем пыль, помоем посуду и спляшем). Ему и в голову не приходило, что Берте не хочется читать, а хочется именно ковырять в носу. «Лиля, голубчик, давай ты мне объяснишь, что тебя беспокоит (путает или тревожит)». Ему и невдомек, что Лилька противная и любит орать. «Ларунчик, кызымка, давай ты оправишь платьице», и — дальше, как Берте, — читать, плясать, мыть посуду, — и еще прибавлялось насчет играть на рояле. У него и в мыслях не было, что, раз задница чешется, ее надо чесать, и всё тут.

Но, к сожалению, то, как он говорил, было не всегда убедительно. Особенно в случае с Лилькой — она никого не слышала, когда сама орала. Поэтому бабушку звали в помощь, ну она архангелом Михаилом изгоняла из нас бесов недамским образом. Дедушка сразу отваливал — чтоб не смотреть на отягощающие обстоятельства наставлений.

— Татарин, а какой культурный, никогда женщину в обиду не даст, — говорили про него и уважительно цокали языком.

Но иногда и дедушка срывался, это когда бабушка

скандалила. Она начинала внезапно вопить и заламывать руки, как в кино.

— Вы деспот, сатрап, большевик, сломали мне жизнь, и вообще я от вас уйду! Утоплюсь! (Ха, в речке-вонючке Саларе? Там же крысы, она же их боится!) Удавлюсь! (Как? У нас потолки огроменные, даже со стола не дотянуться до лампочки!) Уйду вообще и навеки! (И куда, когда дедушка всю милицию знает? Как навеки, когда все скоро умрут?)

И еще много чего.

Тут и дедушка взрывался негодованием:

— Вы избалованная истеричка, замолчите немедленно и не позорьтесь перед людьми! Заткнитесь, наконец!

Я, сидя в нише, где у нас были запасы, обжиралась вареньем.

Если после «заткнитесь, наконец!» дедушка ударял кулаком по столу — значит, всё, надо сворачиваться с вареньем, закрывать крышки и умываться. Кулаком по столу означало умиротворение бабушки. Она недолго топталась на кухне и шла мириться. Типа: «Друг мой, что это на меня нашло сегодня, я погорячилась! Наверно, это давление (погода, ветер, полнолуние, дурной сон или далекие астрономические причины тому виной)».

Если без кулака по столу — это надолго, я незаметно выскальзывала к Берте, и мы глумились на балконе — все дураки, и мы им покажем когда-нибудь.

И таки мы им показали![3]

Ассир дядя Гриша, пьяный сапожник

Дядя Гриша — владелец сапожной будки у нашего двора — был приятный человек. Было здорово собраться возле него и поговорить, хотя, если наши беседы оборачивались политическими спорами, то часто кончались общечеловеческим скандалом.

Обычно он был пьяный, но совсем не так, как Васин папа — с криком-битьем-матерщиной и богопрощением. Он был пьян слезливо, тихо, раскачивался в будке, напевая свои ассирские песни, гладил портрет Сталина, увитый бумажными цветами.

У него в будке было загадочно: в темном углу были неведомые баночки, коробки с маленькими аккуратными гвоздиками, кусочками резины и пахучей кожи, а главное — у него висели связки шнурков. Висели почти беспризорно, почти снаружи, и можно было утащить парочку, и он не заметил бы.

Один раз, когда я поглаживала и подтягивала шнурочек, пока он разговаривал с моей бабушкой, она наклонилась ко мне и прошипела: не смей тащить! И дедушке донесла потом, что я шнурки ворую. Все воровали, а я, значит, не смей. А потом все надо мной смеются: честная-честная.

Но не в этом дело. Мы любили стоять рядом с его будкой, слушать песни и рассказы из его ассирской жизни.

Дядя Гриша был загадочной национальности. Даже в нашем дворе, где кого только не было, это было необычно, как, скажем, если бы американец жил бы у нас в будке и чинил ботинки.

Ассирцы, как он говорил нам, были самой древней национальностью на свете. Даже древней евреев, хотя Борька не верил и часто спорил с ним. Его бабушка, а она была самая старая бабушка на свете, утверждала, что древней евреев только Бог и некоторые звери.

Дяди-Гришины ассирцы пришли из Африки, поэтому они были черные и кучерявые, они шли долго, через перевалы в горах и умирали пачками, ели траву и горнокозлятину… Самые упорные дошли до Крыма и остановились там обживаться. А когда началась война, татар прогнали из Крыма, а ассирцев сталин не тронул, потому что они были тихие и хорошие. За это дядя Гриша был Сталину благодарен по гроб жизни. Тут он начинал плакать, гладить сталина и тянулся в угол за чекушкой. Берта и я начинали орать, что сталин деспот, а сын греческих коммунистов Димитрис кричал, что нет, не деспот, что сталин их тоже спас, принял, когда бежали от плохих греков, которые настоящие деспоты, такие деспоты, что даже детей убивали

камнями, а после уже все начинали орать, что Димитрис украл у Вовки колесо, а Вася обзывал узбека Равшанку черножопым, а Танька меня жадиной — не давала никому кукольное одеяльце, а Берту — жиртрест и таран, а я Таньку — заразной язвой в зеленке, а Борьку — ябедой, а Яша-маленький палил из деревянного пистолетика. Потом дядя Гриша кричал, что даст каждому шнурок, если мы наконец заткнемся.

А потом взрослые потихоньку отбирали у нас подарочные шнурки и отдавали обратно дяде Грише.

Отец народов сталин
Не знал про лагеря,
То берия подставил
Народу столько зря.

Эпиграф из мысли

— Сталина не трожь! — кричал пьяный сапожник Гриша. — Я ему ногу на войне отдал! За Родину, за сталина!

Мы еще тихо стояли в ожидании моего дедушки, которого позвали навести порядок. Гриша и Рахман спорили, кричали, Гриша хватал Рахмана, а тот пытался шлепнуть Гришу по голове. Но хитрый Гриша прятался в свою сапожную будку, а толстый Рахман туда не пролезал.

— Вот ты меня знаешь с детства, чем я провинился перед сталиным твоим, всю войну, ордена имею, а потом четыре года отсидел. За что? — плакал Рахман.

— Сталин не виноват, он спас, он отец, он не знал, это берия… — путался Гриша.

— За что, спрашиваю? — Рахман тоже был заметно пьяный.

Мы держали Яшу-маленького, чтоб не лез со своим деревянным пистолетиком наводить порядок. Яша не любил крики, не боялся, а просто не любил. Поэтому он брался за пистолет, если что.

— Кто из них сталин? — спросила Таня, показывая на портреты в будке. Уж я знала!

— Это который в орденах и с усами.

— Он не может быть плохой, раз в орденах. Плохим ордена не дадут.

— А он сам себе дал!

Наконец приковылял мой дедушка, он хромал, ему в сталинской тюрьме перебили ногу, поэтому ходил с палкой.

Гриша и Рахман стали наперебой жаловаться, осмелевший Яша палил из пистолетика. Гриша пискнул, что дедушка на стороне Рахмана как «рыпрысивный», и так нечестно. Но моего дедушку очень уважали, и Гриша спорить не стал.

Борька, у которого в семье мало кто живой остался, был на стороне Рахмана и дедушки. Он сказал громко: Рахман прав!

Мы тоже были за Рахмана, заголосили, заорали.

Гриша хотел было допить свою чекушку, но при дедушке не решался, Рахман плакал, держа моего дедушку за рукав: «Минахмед, скажи ему, за что?»

— Не сметь при детях! — рявкнул дедушка. — Ребята, не слушайте их, пойдемте отсюда. И никогда не подходите к

пьяным!

А как не подходить? Вон у Васи папа сам подходит, он не сталинист, он пьяница с войны…

* * *

Рахман, давний друг дяди Гриши, был неправильный ассир. Его отец женился на крымской татарке, но они уехали жить в Среднюю Азию до войны, поэтому их не выгнали из Крыма, а только татарских родственников выгнали, и прямиком в Узбекистан. Тут-то они все встретились, обнялись и зажили одной большой семьей. Удачно вышло!

А когда дядя Гриша оказался в Ташкенте после войны, дядя Рахман принял его, нашел ему место для сапожной будки и даже женил на прекрасной ассирке. Но та вскоре бросила дядю Гришу и ушла к цыганам.

Рахман тоже имел сапожную будку, даже две, в одной из них работал пьющий корейский инвалид, а в другой — ассирский родственник. Сам Рахман работал дома, денежки подсчитывал. Про него говорили, что он жулик и шахер-махер. Может быть, у него не две будки было, а сто, и вообще Рахман был Карабас-Барабас всех сапожных будок на свете. Когда такие тайны кругом, удивляться не приходится.

Рахман был на войне в разведке, за каждого пойманного немца-языка ему давали медаль и водку, когда война кончилась, медали перестали давать, водку он варил у себя в сарае сам.

А в сорок девятом году его арестовали всей семьей, потому что его сын поступил в техникум как записанный ассир, а это было недостаточной правдой: скрыть свою вражью крымско-татарскую часть было страшным предательством.

Дядя Рахман считался мусульманской веры, за что дядя Гриша обзывал его нехристем среди других бранных ассирских слов. Иногда Рахман пел с ним ассирские песни, но язык он уже забыл и говорил по-русски.

За пьянство Рахмана не любили татарские родственники и не звали его на свои дни рождения.

Но кто никогда не имел претензий к дяде Рахману — это Васин папа. Он обнимал его, наваливаясь на толстого Рахмана своим длинным костлявым телом.

— Русские всем братья, и тебе, Рахманка, и тебе, Гришка. Всех нас жиды обмяли!

Последние слова он говорил негромко, потому как его многие не одобряли за это, а некоторые даже били. Например,

чемпион Узбекистана по боксу инженер Бергсон.

Рахман не спорил, они склонялись над дяди-Гришиной будкой, оттуда раздавалось тихое бульканье. Потом опять начиналось ассирское пение, Васин папа подвывал и приплясывал, пока не приходили другие соседи их разгонять.

А теперь про Васиного папу, собутыльника всех

Домовая общественность гневно пыхтела на Васиного папу.

— Вы же взрослый человек. Ну хорошо, дети писают в подвале, все бывает, но как не стыдно вам, взрослому, вы же сами отец! Мало того что вы всегда пьяный, да еще и мочитесь где попало.

— Не где попало, а в подвале, и никто не видит. Что же мне делать, если меня домой не пускают.

— А вы не пейте, тогда вас будут пускать.

— Я не могу не пить, я фронтовик.

— Ну пойдите в диспансер лечиться. Давайте мы с вами пойдем как соседи. Вот Минахмед Садретдинович пойдет с вами, он уважаемый человек.

— Да я не боюсь пойти, у меня кошмары, когда трезвый. С тех пор как я фрица душил.

— Посмотрите, Минахмед Садретдинович фронтовик, и Александр Львович, и Марк Михайлович. Да кто в нашем доме не фронтовик! Они не пьют.

— Может, им кошмары не снятся…

— Минахмед Садретдинович, пойдете с ним в диспансер?

— Да пойду я, пойду, и уже ходил, и потом пойду в десятый раз…

Васин папа не послушался общественности, продолжал пить и умер в канаве.

Про Илью Федоровича и Ольгу Александровну — друзей моих стариков

В 1937 году мой дедушка сидел в земляной тюрьме НКВД города Ашхабада.

Общая бедность молодой советской республики не позволяла раскошелиться на пыточные орудия, поэтому пытали подручными методами, используя тысячелетние местные традиции. Дедушку сажали на стул с дыркой в сиденье, привязывали на полдня. Внутренности отекали, и, когда его выдирали из дырки, он не мог передвигаться иначе, как на четвереньках.

В камере было еще несколько арестованных, например корейский доктор, который помогал послепыточным: делал массаж — гвоздеукалывание (он прятал между стеной и земляным полом несколько острых гвоздей).

Был там и Илья Федорович, муж Ольги Александровны, огромный, сильный военный человек. Он выносил дедушку на руках во двор. Корейский доктор незадолго до расстрела объяснил, как надо помочь после пыток, Илья Федорович был талантливым учеником.

Вскоре Илье Федоровичу перебили ногу, к счастью одну, потому что дедушка не смог бы его поднять, только поддержать — дедушка был маленький и худой. А так на трех ногах они еще доползали до сортира во дворе. Дедушка примотал тряпкой деревяшку к ноге своего нового друга — получилось что-то вроде колодки, и стало легче ковылять.

Люди в камере менялись часто, как в гостинице: расстреливали, пересылали. Отправили моего дедушку в лагерь, Илья Федорович еще оставался.

Встретились они с большой радостью, уже на поселении. А потом милостью властей оказались в Ташкенте и даже жили недалеко друг от друга.

* * *

Моя бабушка росла в семье, где мучили девочек манерами. Няня, мама, а после ее ранней смерти добрая вторая жена отца требовали прямой спины, подбородка вверх, изящно сложенных рук, тихого голоса, разных вежливых слов. Они в один голос

утверждали, что это поможет ей найти достойного мужа, наслаждаться приятным обществом и воспитать своих детей хорошими людьми.

Отец и старший брат, в свою очередь не чуждые хороших манер, внушили бабушке идеалы Французской революции: свобода, равенство и братство. Как оказалось, выйти замуж за дедушку бабушке помогли скорее идеалы отца. А идеалы дам оказались не так востребованы в новом обществе.

В 1937 году бабушка стояла в приемной ашхабадской тюрьмы в длинной очереди в надежде передать что-нибудь арестованному дедушке.

Вертухай выкрикнул: кто тут к врагам народа, шаг вперед.

Бабушка шагнула вперед.

— Все отсюда вон!

Она не двинулась:

— Господин конвойный, позвольте нам хотя бы узнать…

— А ты чо на меня сверху смотришь? Ишь, господин, я те дам, госпожа! — И дал ей по шее, чтоб голову нагнула.

— Вы непозволительно обращаетесь… — вступилась за бабушку другая женщина.

— Еще одна врагнародная? Вошь буржуйная! — И ей по шее.

И вот всхлипывают они обе в углу, а та, которая вошь буржуйная, моей бабушке говорит:

— Извините, мы незнакомы, но позвольте предложить вам платок, у вас кровь из носа…

— Спасибо, дорогая, будем знакомы: меня зовут Эужения Вацлавовна.

— Очень приятно, а я Ольга Александровна.

Так они и подружились на всю оставшуюся жизнь. Вот уж не было бы счастья, да несчастье помогло.

* * *

Невестка Ольги Александровны родила поздно, ей было сорок два. Что-то случилось неправильно, и через несколько часов она уже остывала под белой простыней в мертвецкой, а маленькая девочка голосила в кроватке.

Ольга Александровна сидела в коридоре. Внутри расплывалась оглушающая пустота, по краям которой носились обрывки бесполезных мыслей: эх, не надо было, годы экспедиций на жаре, тяжелые рюкзаки, неженская работа — геолог… Илья Федорович что-то шептал ей, обнимал за плечи, она не слышала, холодный ужас подбирался постепенно: да, это не сон, да, это со

мной, с нами…

Дверь открылась, вышел их сын, руки у него тряслись, он пошел в сад, старики потащились за ним, боясь встретиться взглядом.

— Назовем Еленой, неделю подержат у себя, — сказал сын, и они поспешили на трамвайную остановку.

Соседи во дворе засуетились: не война сейчас, вынянчим, выкормим, раз горе такое. Соседка Гайша-апа надела калоши, повязала голову платком и отправилась в махаллю[4] — искать кормилицу. Нашла. Три раза в день бегали к ней с бутылочками, потом стали возить девочку к ней в коляске. Ольга Александровна отдала кормилице свои сережки.

Жизнь плотно занимала дни, старики падали с ног к вечеру, некогда было горевать. Но Ольга Александровна словно помолодела, двигалась быстро, и, казалось, даже боль в спине ушла.

Вскоре сын снова начал ездить в экспедиции, Ольга Александровна начала учить внучку музыке. Разбирала ноты, вспоминала, как играли с невесткой в четыре руки.

Дни рождения девочки справляли легко, но начинали с тоста за покойницу, и ее фотография всегда стояла на столе. Ольга Александровна чувствовала себя виноватой, суетилась, дурачилась. На сына она не рассчитывала, если и бывает пару месяцев в году дома — уже хорошо.

Глядя на своего старика, который уже с трудом таскал ноги до булочной, она стала задумываться о смерти, иной раз даже думала помолиться, попросить у Бога еще несколько лет здоровья. Но самой становилось смешно: какой Бог? А кто тогда невестку прибрал?

Бог, видно, не возражал, и девочка закончила школу. Ее экзамены в университет Ольга Александровна переживала тяжело: не откинуться бы нам сейчас, не помешать бы.

Мысли о смерти одновременно со стариком овладели ею: она представляла себе так, чтобы умереть как-нибудь удобно, во сне, когда внучка будет на каникулах, не обременить девочку хлопотами. Когда ходила на кладбище, заглядывала в контору, спрашивала цены. Эта мысль — о смерти — помогала ей в ежедневных заботах, давала силы провернуть за день кучу дел.

— Так, вот это я уже сделала, обед есть, чулки зашила, еще подмету сегодня и цветы полью, чтоб на завтра не оставлять.

Кто знает, что будет завтра?

* * *

Илья Федорович и Ольга Александровна прожили вместе почти шестьдесят лет с перерывами на войны и лагеря.

Она была из семьи потомственных военных, как и он, и познакомилась с Ильей Федоровичем на балу в юнкерском училище. Ее старшая сестра была против: жизнь военной жены — одинокая жизнь, сама по себе, как не замужем, как сразу репетиция вдовства. Но так случилось, как всегда случалось в этой семье: военный муж увез далеко, и жизнь обернулась письмами и серыми фотографиями.

Из-за революции сестры больше не виделись друг с другом. Ольга Александровна плакала по сестре, иной раз доставала ее фотографию, разговаривала с ней. Сестра сгинула в Омске в Гражданскую войну, ее окоченевшее тело нашли на улице, сняли ботинки, часики, перчатки…

После войны Ольга Александровна поехала в Ленинград, родители умерли еще до блокады, в квартире голосили девять семей: тазы, белье сушится в кухне, разбитая раковина. Оторвала кусочек обоев, хранила сентиментально. У нее была идея оклеить такими обоями свою ташкентскую комнату, и она часто говорила об этом. Но ни сын, ни друзья, ездившие в Москву в командировки, таких не нашли.

Илья Федорович не любил прошлого. Даже хорошего прошлого, сытого детства, веселой юности. Когда Ольга Александровна заводилась с воспоминаниями, он брал палку и шел гулять. Ей становилось стыдно, она выбегала за ним, и он хромал по бульвару молча, она семенила рядом и делилась планами: варенье на зиму, музыкальные ученики.

Когда внучка начала ходить, в ней обнаружилась любовь к танцам. Ставили на середину комнаты стул. Илья Федорович садился, протягивал руки девочке, и они плясали — один раскачивался, сидя на стуле, другая подпрыгивала. В эти минуты он смеялся, хохотала и Ольга Александровна, потом они садились пить чай, шутили, но внутри Ольга Александровна следила за собой, чтоб ненароком не пуститься в воспоминания.

* * *

Отправляясь на день рождения к Илье Федоровичу, моя бабушка пекла пирог, дедушка покупал цветы — большие ноябрьские хризантемы для Ольги Александровны. Подарок обычно был в складчину с двумя другими семьями. Мне надо было заранее разрисовать цветами лист бумаги, в который его заворачивали.

Собирались поздравляющие на трамвайной остановке. Там обертывали подарок, завязывали ленточкой. Ольга Александровна приоткрывала занавеску, выглядывая нас, но делала вид, что удивлена, как все вместе пришли, и совершенно случайно на подносе у нее оказывалось точное число готовых рюмочек с вином.

Потом дружно пели «многая лета», дурачились, старушки хватали Илью Федоровича под руки, изображали кокетство. Мне всегда было немного стыдно смотреть на это. Я уже видела в кино, как нарядные дамы с тонкими талиями, в кружевах, брались под локоток офицерскими щеголями, а эти тут, корявые и старые, в крепдешиновых платьях и потертых жакетках. Илья Федорович, хоть и сохранил статность и военную выправку, был хромой, и широкие штаны с манжетами висели на нем мешком.

— Ай да гусар, угостите портером, — цитировали развратниц наши дамы.

Я убегала в другую комнату рыться в книжном шкафу, старых журналах, нотах, мне туда приносили угощение. Заглядывая на их стариковский праздник, я видела, как дамы собирались кружком, держа чашечки двумя пальцами, вспоминальничали, сводничали, напевали арии. Гусары курили на веранде. После начинали играть на фортепьянах, петь из Шуберта, подтягивались соседи, переходили за стол во дворе. Зажигалась керосиновая лампа, вокруг летала мошкара, разрезали обязательный торт «Наполеон». Он всегда застревал у меня в горле масляными хлопьями. Как им не надоест одно и то же? И радуются, как дети.

Когда мой дедушка умер, Илья Федорович уже не вставал с постели, на похороны пошла Ольга Александровна.

Все они уже давно мертвы, их фотографии пожелтели и скоро рассыплются в прах.

Моя любовь — Доктор Марк Михайлович

Еще до всяких разговоров шепотом про неприличность любви, у меня эта самая любовь уже была.

Как бриллиант чистой воды. Как снежная вершина недоступной горы. Как замирание сердца и ватность в ногах. Как я не знаю что, ну прямо как если бы у нас из ямы посреди двора сияние исходило.

Но то всё чувства. А интересующимся, так сказать, ЛИБРЕТТОМ его личной жизни я чистосердечно обо всем напишу, *скрипя сердцем.*

Мой Доктор был такой красивый, стройный-высокий, на плечах у него было по три золотые звездочки, и на фуражке — золотом листики, и красные полоски на штанах. У него была серая «Победа» и гараж во дворе, куда иной раз удавалось заглянуть. Мальчишки визжали от радости, а мне не нравилось в гараже, там воняло и никаких фантиков или лоскутков. Я не ожидала там найти плюшевых медведей, ну что я совсем дура, что ли, ну хоть разноцветных проволочек или серебряной бумаги…

Ну да, были гайки разные, которые он дарил мальчишкам, они зажимали их в кулачке и хвастались потом на весь двор.

Так вот, говорили, что первый раз Доктор женился во время войны. Он был на войне сначала с немцами, а потом с японцами, и всегда был доктором, а не подневольным благородным убивцем, которым становится каждый солдат, когда на него нападают. Иногда ему приходилось надевать медали и ордена, он быстренько шел по двору, стыдливо прикрывая грудь фуражкой. А дедушке как-то раз сказал, что чувствует себя бульдогом на выставке, когда приходится медали надевать. Это мне было непонятно: вы когда-нибудь видели бульдогов на войне? За что им тогда медали? Но раз он, Доктор, так сказал, значит, это было умно и имело тайный смысл.

Ну вы понимаете, то, что говорят взрослые, имеет тайный смысл, особенно когда наружу никакого нет.

Ну я отвлеклась.

Этой фронтовой жены никто не видел, я это знаю, подслушав, как бабушка дедушке говорила. Бабушке вообще доверяли тайны, она изредка рассказывала их дедушке, а он уж точно никому. Если это, конечно, не было преступлением. Дедушка преступлений не терпел. У Доктора не было недостатков, у него

были оковы — его мамаша Берта Лейбовна.

Она была очень старая женщина. Вечером, когда спадала жара, она выползала посидеть перед подъездом во дворе.

Иногда подходили соседки поболтать.

Дети сторонились ее. У нее был скрипучий каркающий голос и страшный инвалидный ботинок, как огромное копыто. Бабушка не позволяла мне смотреть на него в ее присутствии.

Сладость ужаса проникает в детское сердце, притягивает, не отпускает. Я пыталась представить ее ногу в нем, в голову лезли куриные лапы, козлиные мохнатые копыта, рыбьи плавники. Тогда это было совсем не смешно.

Однажды я спросила дома: что у нее там в ботинке?

— Больная нога, неприлично спрашивать, это ее расстроит. Всё, точка.

Бабушке очень важно было научить меня правилам поведения в жизни, а саму жизнь я могла добыть сама.

Один день в году Берта Лейбовна не появлялась во дворе. Соседи отгоняли детей от ее окон на первом этаже: она больна, давайте все отсюда!

Как-то среди нас, детей, прошел слух, что не больна она вовсе, а колдует.

— Она же ведьма, не знала, что ли? У ведьмов всегда такие ноги.

— Но у ведьм обе такие ноги, если уж так, а у нее одна!

— Не веришь? Пойдем, увидишь — колдует.

Мы пролезли через цепкие кусты под окном ее комнаты, забрались на узкий карниз.

В сумеречной комнате на кровати сидела Берта Лейбовна. В ночной рубашке, покрыв голову полотенцем. Она раскачивалась, негромко монотонно бубнила своим скрипучим голосом непонятные слова.

Она была босая. Ведьмина нога кончалась скрюченной детской короткой ступней, розовой, беспомощной, как крысячья лапка.

Слезли с карниза, ошеломленно молчали под окном, слушая загадочные слова: *«Барух ата адонай, элохейну мелех хаолам…»*

* * *

Бабушка сватала Доктору одиноких женщин, остальные сами сватались. Вся улица знала, какой завидный жених в нашем дворе имеется, поэтому заглядывали к нам разные дамочки, как бы просто так… а мы их встречали понимающим взглядом.

Вот например, НинМихална.

НинМихална была дородная женщина. Большая, как бегемот, и модная, как Жаклин Кеннеди.

Бабушка шила ей. Обе соблюдали тайну, чтоб фининспектор не застукал. Были у них и другие тайны, закрывали в комнату дверь, чаевничали… Не всегда удавалось подслушать.

Но как-то раз удалось. И сердце мое обмерло и остановилось. Они строили планы захомутать Моего Божественного Возлюбленного, Моего Военного Доктора, Старого, но Стройного, Холостого, но со скрипучей матерью в страшном инвалидном ботинке. Она, эта крокодилица, кровавая помада, полумесяцем бровь! Туфли-лодочки! Лодки, баржи! Как я завидовала соседям, у которых кот писал гостям в ботинки!

Бедняга невинно кокетничала со мной: «Ах, бабушка твоя такая мастерица…»

Как же мне хотелось, когда ОН проходил по двору, задевая фуражкой ветки деревьев, Высокий Красавец Мой, донести про бабий заговор!

Они выработали стратегию, сначала надо было заполучить на свою сторону мамочку — эту глуховатую инвалидку, сидевшую с костылем у подъезда. Ну вы помните, у нее был копытный ботинок? Детская простодушная жестокость! Не будь проклятого ботинка, может, стали бы приятелями, она бы рассказывала, как была девочкой, стройной, легкой. Мне тогда казалось, что все хотели быть девочками. Когда и как они сговорились, я не знаю. Но вот судный день настал. НинМихална отправилась на материнские смотрины.

На глазах у всего двора она нависла над старушкой, готовясь проорать в глухое ухо необходимую любезность. Бабушка целомудренно стояла в стороне, народ навис с балконов. Вечерело, время было неудачное, сплетенное.

Глухие люди, как известно, говорят громко. И на весь двор раздалось:

— Помилуйте, у меня сын худой!

Злорадное торжество и высокие девичьи надежды забились в моей коварной не по летам душе!

Мне было уже восемь лет, я была высока, стройна, я играла на пианино, и бабушка шила мне из старья прекрасные наряды… Ну еще десять лет подождать Военному Доктору!

Не дождался меня.

* * *

А потом меня увезли жить в Москву, в шестой класс. И я жила там, как египетский бог Анубис или Осирис, или кто там с песьей головой: весь год мертвый, а летом, когда в Ташкент ехать к старикам, — воскресал.

И вот, когда мне было уже лет четырнадцать, наверно, я приехала летом в Ташкент, а мой Доктор, нате вам, женился на стюардессе рейса Ташкент — Алма-Ата! Она была молодая красавица, изящная, тоже очень высокая, в синей пилотке и костюмчике! Я его выбор одобрила сразу, без даже ревности! Это была жизнь богов, одно созерцание которой наполняет душу ликованием.

Но не все были так боговосхищены, многие злословили, а мамаша его так вообще убивалась моей бабушке: ее не воспитывали в духе интернационализма, и казахская национальность богини ей была чужда. И молодость тоже, что, мол, хвостом вертеть начнет! Бабушка увещевала ее как могла, рассказывала, как у нас в семье разные национальности женились, и у других тоже, и ничего, живут.

Доктор съехал, но посещал мамашу аккуратно. Через год мамаша радостно качала коляску, скрипуче гугукала младенчику в азиатскую мордочку…

Надеюсь, они долго жили счастливо. Чтоб умереть в один день — это я сомневаюсь, дальше не помню уже.

Меня захватило выживание собственной жизни в далеком краю…

Про любовь вообще

Про любовь у взрослых мы имели всякие примеры, большей частью непонятные, неизбежные, судьбоносные и неотвратимые.

Вот, к примеру, Миллерша — это была соседка, полька. Католическая была женщина, суровая, большая, одевалась европейски, имела в доме пианино — я иногда играла с ней в четыре руки «Молитву девы» или что-нибудь такое чувствительное, что в музыкальной школе не проходили.

Было у нее в квартире темно и даже прохладно, большая статуя мадонны стояла в углу. Такая, как в детстве сказала бы, «настоящая» статуя, со слезами на печальном лице, пугающая неизбежным взрослением и необходимостью понимать «смертности».

Дружила она, пожалуй, только с моей бабушкой, тайной полькой, записанной русской в процессе выживания перед войной. Обмен пирогами, редкие вечерние посиделки, мне всегда хотелось пойти к ней в гости, хотя мне доставалось от нее — не получалось из меня достойной барышни.

Так вот, у нее был муж — старый худой еврей, подобранный где-то на полустанке в конце войны. Она звала его по фамилии — Миллер, во дворе ее звали, естественно, Миллерша, что ее бесило: «Не жидовска фамилия у меня». Она поносила несчастного Миллера на чем свет стоит, открыто, во дворе, орала на него так громко, что мы, дети, сначала приседали в страхе, а потом разбегались, заливаясь смехом. Почему? За что? При встречах с моей бабушкой аспид Миллер был главной темой ее страстных монологов.

И вдруг он умер. Миллерша перестала есть, умываться, выходить из дому. Она лежала в темной комнате, моя бабушка пыталась кормить ее с ложки. Через некоторое время Миллершу забрали в больницу, где она повесилась через пару дней.

Когда бабушка восклицала: «Ах, как она его любила», — мне было смешно. Сейчас уже не очень.

* * *

Или вот у нас была соседка Таня Бурканова. Она была опытная девочка. Во-первых, она родилась на грузовике. Во-вторых, она много переезжала, и у нее был аппендицит. Но самое главное, у Таниного папы была любовь не только неотвратимая, но и преступная с точки зрения Таниной мамы.

Там происходило много захватывающего воображение на долгие годы: швыряние мужских предметов с балкона. Битье стаканов. Беганье по балкону с ножом в руках. Крики женским голосом: «Отравлюсь и ее отравлю, дочь тебя проклянет!» Крики мужским голосом: «Сама шалава, абортница…»

И это кроме слов, которые ни говорить, ни писать нельзя.

Весь дом наблюдал, а некоторые даже участвовали: дедушка ходил предотвращать драку, Кремерша и моя бабушка — усмирять Танину маму и укрывать Таню от всех, отвлекая ее конфетами и книжками.

Между тем Таня уже ничего не боялась. Она с удовольствием рассказывала о привычках родителей, объясняла нам непонятные слова, показывала, как мама пытается порвать рубашку на папе и целится ему в глаз тарелкой.

Однажды вызванная для утешения иногородняя Танина бабка застала ее за домом, где мы смотрели, как Таня махала руками с криком: «Суке твоей ноги вырву!» Бабка сразу догадалась, о ком речь, и рассвирепела на глазах. Я быстро смекнула, что надо ее отвлечь, и тоже заорала: «И рыцари мои сразятся за тебя! Дай мне меч, король Артур!» Я тогда про него читала, и мне казалось, что он очень даже к месту будет.

Но это не помогло. Таню поймали и поколотили. А на меня злая бабка наябедничала, что я издеваюсь над несчастьями простых людей, и добавила, что нас не зря сталин посадил, раз мы такие.

Дедушка смеялся и говорил, что мне сделали реприманд. И я очень гордилась: это значит, что я из культурной семьи.

Таню от шумно разводящихся родителей отправили жить к тете, она приехала оттуда молчаливая и совсем другая.

Мы собрались послушать, как живут у тети, но Таня сказала только одну загадочную фразу: «В каждой женщине должна быть холодная тайна».

Сначала мы замолчали, а потом загалдели: «Как это? Где это?»

Я решила пойти от обратного и определить горячие тайны. Да, в соседских женщинах они были, они вполголоса быстро говорили их моей бабушке за чаем или шептались между собой на лестнице, они являли их красной помадой и светлыми тонкими чулками. Это были привлекательные тайны.

На соседней улице жила пара женских пьяниц, они были тихие, извиняющиеся, и какие могут быть тайны, если у них штаны торчали из-под рваных платьев…

Холодная тайна должна быть зловещей. Слово «зловещий» у

меня было для мужчин: старьевщика, точильщика ножей, бабая на рынке, который придет-заберет, для остекленевших глаз Васиного папы, когда он замирал, перед тем как сорваться в крик и битье. Незнакомые мужчины без дела всегда были носителями злых, холодных, опасных тайн.

Считать ли такие обычные тайны прошлого, как лагеря, тюрьмы, война и поселение, холодными или тайнами вообще, когда все о них знали, если даже не говорить? Нет.

Женские холодные тайны должны красиво одеваться, иметь «горькие складки у рта», взгляд мимо всех, надменную походку.

Мы долго искали и нашли одну такую женщину.

Она ходила в кино одна. Немолодая, непроницаемая, в костюме и на каблуках.

Мы стали следить за ней. Иностранка? Шпионка? Бывшая принцесса?

Когда стало невмоготу от неразрешимой тайны, я открылась бабушке:

— Холодная тайна, есть в ней холодная тайна? Только про лагеря не начинай…

— Это ты про Анну Федоровну? Есть, пожалуй. В ней, скажем так, холодная бездна. Она вдова с войны, за 20 лет могла бы уже и не раз замуж выйти, а вот нет! Неутешаемая женщина.

— Ну-у-у, просто как…

Даже после того, как Танина мама кинула с балкона одежду Таниного папы, а он с помощью соседа дяди Феди подобрал ее, сунул в сетку и ушел, Таня продолжала бывать у тети подолгу.

Она приезжала от тети с разными новыми мыслями, потому что тетя была культурная и Таню правильно развивала.

В этот раз Таня показала нам листок со стихотворением. Там был только кусочек, остальное оторвано, она повторяла его нараспев, а в конце махала рукой вместо рифмы:

Живой воды не отхлебнуть
На жизни тягостной дороге
И жребий свой не обмануть

Мы пытались придумать окончание. Слово «ноги» лезло в рифму к дороге. Только ведь «ноги» — это вообще не поэтическое слово, грязные, пыльные ступни, уродские ногти. Такие встречались иногда, что страшно было смотреть, как они торчали из босоножек и шлепок.

«Сапоги», чтобы страшные эти ноги прикрыть, тоже не подходило.

— Берлоги, — заржала Берта, и нам стало так смешно, что Таня обиделась. Она стала кричать, что это грустное стихотворение, что рифмы надо со смыслом придумывать.

— Когда погода плохая и дома сидишь, и один, а на ужин только кефир с хлебом, — завелась я на грустное.

— Что не подумать ли о Боге, — сказала, смеясь, детородный доктор тетя Римма, она подошла к нам забирать свою вредную Лильку домой.

— Тетя Римма, а вы сектантка? Разве врачи в Бога верят? — изумилась Таня.

— Да какой к черту Бог, прости господи. — Тетя Римма закуривала свою папиросу-«беломорию». — Тут и без него не управишься.

Но нам так понравилось, что решили: да, там, наверно, было про Бога.

Это стихотворение мы переписали, положили в лекарственный пузырек и закопали во дворе. Это у нас был секретный талисман.

Недоверие божественному

Наряду с любопытными и страшными размышлениями детства про рождение детей, правила взрослых, смерть, как бы что-нибудь найти, имеется размышление про Бога. Ко мне оно приходило когда не спится, а все остальные мысли уже передуманы. Несмотря на то, что про Бога говорят разные вещи дома и во дворе, хорошо подумать самому и превратить наблюдения в правило, от которого легко на душе и спокойно в ногах.

Про Бога взрослые боятся говорить разумно, больше с чувством, как про мужей или милицанеров: дал-взял, бросил-погубил, простит-помилует…

Некоторые считают, что он живет в церкви за золотой дверкой и занавесочками, как крыса Шушера у папы Карлы за очагом. Он никогда оттуда не выходит, но подсказывает, что говорить этим, которые вокруг хороводят.

Некоторые считают, что он на небе и оттуда все видит.

Например, на трамвайной остановке у нас жил злой нищий. Он всегда страшно ругался и считал, что Бог видит, как мы ему мало подаем или вообще нет. Можно подумать, что Бог только и следит, чтобы он был сытый и пьяный. Я никогда не видела, чтобы Бог наказал кого-нибудь за этого нищего. Хотя, может, он накопит злобу и потом накажет…

Тем, кто его не боялся, он не мешал. Например, нашей соседке красавице-манекенщице он не мешал жить на зависть всем. А старушка Матвейна, которая кричала ей про Бога и вертеп, сломала ногу уже два раза.

Бог занимал женские умы. Я никогда не слышала, чтобы мужские соседи говорили про Бога. Вот черта они упоминали, но бездейственно, так просто, как дружка. Женщины вообще больше радуют Бога: яйца красят ему, куличики пекут, мацу, чах-чах с медом. Вкусное Бог любит, они и стараются. Ну и нам перепадает, не может же он столько съесть.

Но неблагодарности от него хоть отбавляй: то не ешь весь день, то кланяйся, лбом об пол стучи, то нельзя, это нельзя… А спросите почему? Никто вам не ответит, только еще больше испугаются, как собаки в темноте.

Ну вот пусть Бог мне ответит, если он такой, как говорят, всесильный там, все видит, все знает!

Почему он раздает горести и всякие трудности направо и налево и никакого доброго чуда от него, сколько ни корми его празднично на скатертях? Мы вот всегда спасибо говорим, а от

него не дождешься.

И без него страхов навалом: черные собаки, милицанеры, старьевщик, посторонние дядьки во дворе, навозные мухи, крысиный яд, сталин, баня и зымлетрысение. Всесильный, а ногу нищему не отрастил. Девочку Динару умер. Кого заболел, кого на войне убил, кого потом умер, кого плакал день и ночь. Зачем он нам?

Вот дедушка, например, его тоже не любит. Для дедушки его просто нет, и всё тут! Бабушкины куличи и рыбные котлеты или не кушать весь день — это он готов, но все это просто так, это как бы дедушка играет в свои игры.

А у бабушки Бог разбойный, он у нее всех забрал, кого она любила раньше, даже одного из ее младенчиков, и тем, кто сейчас еще у нее есть, не дает особенно веселиться.

Но рассуждать о нем она не любит. Говорит, что словами не поможешь, и не сердится на него даже.

А зря, я бы на ее месте поколотила бы его за такое воровство и прогнала с неба. Пусть на задворки идет и наше доверие зарабатывает.

Сколько я ни звала его в темноте поговорить со мной, он не приходил. И даже не приснивался, сколько ни проси.

В общем, я поняла так: есть он — нет его, надо жить так, будто его нет. И не надеяться зря.

И не доверять ему, и обороняться от него, как солдат, если вдруг придет. Кто знает, что у него на уме?

А там посмотрим…

Целесообразность Бога состоит в том, чтобы на нем тренироваться в чувствах. В любви, например. Вот если человеку какое-то время жизни некого любить, то он любит Бога, чтобы не разучиться, как это: добренькое делать, угощать, обнимать, чмокать, говорить ласковое и утешать от страшного.

Вот люди, у которых есть кошки и собаки, или даже попугай, им Бог не нужен. Люди не спорят с собакой или котом, они их любят, гладят, даже если ничего полезного от них нет: ни мышей не ловят, или даже лают весь день, или царапаются.

Они их в одну сторону любят. Так и с Богом — мы его должны в одну сторону любить без взаимностей, как котов.

А у меня не было ни Бога, ни кошки, ни собаки. Я на бабушке с дедушкой тренировалась. Дедушку легче было любить, он не принимал участия в мучениях от ежедневного порядка, в обучении взрослой жизни, которые приходилось делать бабушке.

С ней нужно было больше спорить, ругаться, обижаться и

хотеть как-нибудь сильно отомстить — перестать разговаривать навсегда, расчесывать болячки или умереть. Вот, например, когда я ворую варенье из зимних запасов, она орет и трескает о-го-го-го как. А дедушка в стороне вздыхает. Видно, что он не одобряет нас обеих, но не вмешивается.

Совсем как Бог, при нем всякое творится, а он просто смотрит и ничего не может сделать. Потому что люди, и даже дети, отбились от него на свою дорогу.

Я слышала, что, если Богу надо что-то сделать, он ангелов посылает. Чтобы они людям объяснили Божью волю. Вот у нас, наверно, так: дедушка — Бог, а бабушка — у него ангел на побегушках.

* * *

А откуда люди знают, что Бог хочет? Не кушать вам? Или плетьми стегаться? Или крест, на котором мучили, брильянтами обложить и на грудь повесить? Или с раскрашенным пупсиком на руках в оборках ходить, вонялкой махать, глаза закатывать, на карачках ползать?

Уж на что моя бабушка знала хорошо, что я люблю, а и то иной раз ошибалась, какие платьица я хочу надеть и какого вареньица вкусить.

А не гордыня ли за Бога знать, как он хочет, чтоб нам одеться, и когда яйца кушать?

Это кто его унижает, за него выбирая ему правила? Его — святителя, создателя, карателя, спасителя — «его бессмертную душу»?

Это кто решает, что ему угодно, а что нет?

Может, оттого его и нет уже, что утомился, в носу свербит от елеев, чешется от помазания, разочарованные глаза погасли, першит в горле от воинства глупости?

Как бы он есть, и как бы его нет, как в квантовой механике? Или и там и тут, как Фигаро в принципе неопределенности? Он и волна чувства, и частица слова? Он это… Ну только руками развести… И заткнуться.

* * *

Если на все воля Божья: на войну, на Васиного пьяного папу-драчуна, на Сталина и цены на кукурузу, и творога не продавать, — то почему же это мы пустились во многие помыслы

и грехи наши тяжкие?

Почему это вот за 10 заповедей для взрослых мы, дети, отдуваемся? А где детские заповеди?

Мы особенно созданья Божьи, поэтому у нас промыслов раздва и обчелся. Что тут промыслить? И некогда от школ и уроков, и денег нет, какие-то копейки на мороженое и леденцы…

А ведь это нас крутит вихрем от ихних помыслов и воли Божьей, это нас бросают родители, бьют и мучают своим тайным бессмыслием.

Это нас тренируют к унижению? К предательству и обману? К помыслам многим, на которые, между прочим, воля Божья?..

Вот он пусть и кается: грехи мои тяаажкие…

И на меня же Бог должен рассердиться за ворованное варенье и кляксы? Это ж его воля, чтобы я так попалась? Это у него ЗАДУМАННОЕ: украсть, чтобы проучиться, наказаться и раскаяться? Как удобно ему, провокатор небесный!

А милосердие где? Нельзя ли его сейчас получить заранее? Все равно он своим промыслом и волей заставит столько гадостей наделать за жизнь, что все окажется грехами нашими тяжкими.

Подумал бы прежде, чем говорить.

* * *

Мне вообще непонятно, вот человек убил кого-то, и просить прощения извольте у Бога.

Давайте я у Кремеров со второго этажа все конфеты слопаю, а потом к тете Оле пойду и у ней прощения попрошу, и даже не у нее, а у ее мужа: «Здравствуйте, Иван Михайлович, я тут у Кремеров все конфеты съела, пусть тетя Оля меня за это простит». А Иван Михайлович посмотрит на меня сокрушенно, слезу утрет и скажет: «Иди, деточка, тебя тетя Оля простит, только не обжирайся больше чужими конфетами».

И еще печенья даст откусить и винца ложечку. Якобы тети-Олиной, страшно сказать, плоти и крови. Тетю Олю откусить и крови из нее попить? Фу, да мне в страшном сне не приснится такое!

* * *

Договор с бесом в обмен на душу?

И так ее потеряем напрасно без всякого вознаграждения.

Нагрешение накапливается и без всякого беса. Бес честен —

сначала вознаграждение, а душу — потом. Боже, наверное, верит, что сам вечный и успеет падшей душой наиграться. А Бог недоверчив, сначала терпи, душу мучай, а потом когда-нить приду назад, вот тогда и отблагодарю.

* * *

Выживание учит обману,
любовь — страху,
ненависть — неосторожности,
удовольствие — ненасытности,
размышление — печали.
Потом всегда есть наказание.

Вот у нас на площади стоял памятник Куйбышеву. Высоко, на постаменте. В темноте мальчишки забирались к его ногам, стучали по нему железякой, и он странно гудел внутри, и, если приложить ухо, рассказывали они, холодная гулкая дрожь отдавалась в голове.

Может быть, это Бог прятался внутри, страдал там, в чужом железном туловище, печалился о нас, дураках.

* * *

Далеко не все заповеди имеют отношение к ежедневной действительности. Например, не убий. Не так уж часто это бывает. Так и забыть можно, если не повторять каждый день. А даже если и повторять, то повода не найдется в средней унылой жизни. Ну я понимаю, там, на войне, а во дворе: если, например, с Борькой подраться и не победить, не убивать же его потом чужими силами? Это глупо даже, ведь убить — это навсегда, а без него играть — уже не то, скучно.

Или чужую жену? Да кому она нужна, эта чужая жена, своих вон люди как ругают и не слушаются.

Вот возьмите чемпиона Узбекистана по боксу инженера Бергсона и его жену тетю Римму. Он, даже когда дома, от нее запирается в комнате с чертежной доской. И уши ваткой затыкает. Ему чужую жену? Ха, Танину маму, толстую, в бигуди и похабном халате. Она орет неприлично, и у нее золотые зубы навыкат. Да, вот тогда, наверно, ему заповедь «не убий» пригодится.

Вот «не обжирайся и не укради» — это, пожалуй, разумно. И

только благодаря этим двум заповедям я могу подозревать, что я его знаю, а он — меня. Потому как обжираться — так или иначе, необязательно овсянкой, — это очень даже по-человечески и гораздо чаще и проще, чем убить или увести чужую жену.

И если Бог такой умный, почему он с чужой женой так оплошал? И даже эти все заповеди он обделывает так, что как будто его нет. Как бы он это кому-то сказал. А если тот не расслышал или не понял? Или потом всё переврали. Вон Танька, она, когда рассказывает, так врет, что и не узнаешь, даже если сам там стоял и всё видел. И все у ней красавицы на каблуках, и воры им кошельки взад отдают, от ихней красоты смутившись. «Не укради», значит, соблюдают.

Отец Господь наш, значит, такой! Да он еще Васиного папы хуже, тот хоть, когда трезвый, добреет ненадолго. А этот всемогущество свое остановил, чтобы помыслы подбрасывать исподтишка. Заразил грехами, спохватился, и давай изводить войнами, болезнями, голодом.

А люди грешат и кричат: папа, папа, мы больше не будем, прости нас…

* * *

Как только знакомишься с идеалами, устремлениями и красотой путем искусства, ежедневная жизнь теряет свое невинное целое значение.

Досада и раздражение, пустота, сомнения и прочие неправильности заползают в душу и внушают отвращение к очевидному — каканью и писанью, ногтям и челюсти у бабушки в стаканчике.

Среди духовной серьезности тоже появляется сзади некто второй, как в «Маше и медведе», и жучит, жучит, сидя на горбу, о необходимости жить для потом.

В идее человека и его понятий про обустроенность жизни есть изъян. То ли Бог не додумал, уставши от неба, деревьев и зверей, то ли ему негодящие остатки подвернулись, то ли «мудрость природы» подкачала…

Много расходуется на плохое и неполезное. Или, еще хуже, на обман, войну и воровство.

Вот подсолнух, например. Так или иначе, много или мало, а семечки у него будут, если его заранее не оторвать. Вот он растет из корешка уверенный в себе. И семечки правильные, одного вкуса и цвета.

А люди вырастают во что-то разное, совсем не то, что

ожидали. Вон, посмотрите, сколько народу в тюрьме сидит, или на базаре побирается, или на кладбище. Руки-ноги оторванные, это разве так их матери выращивали? Нет же!

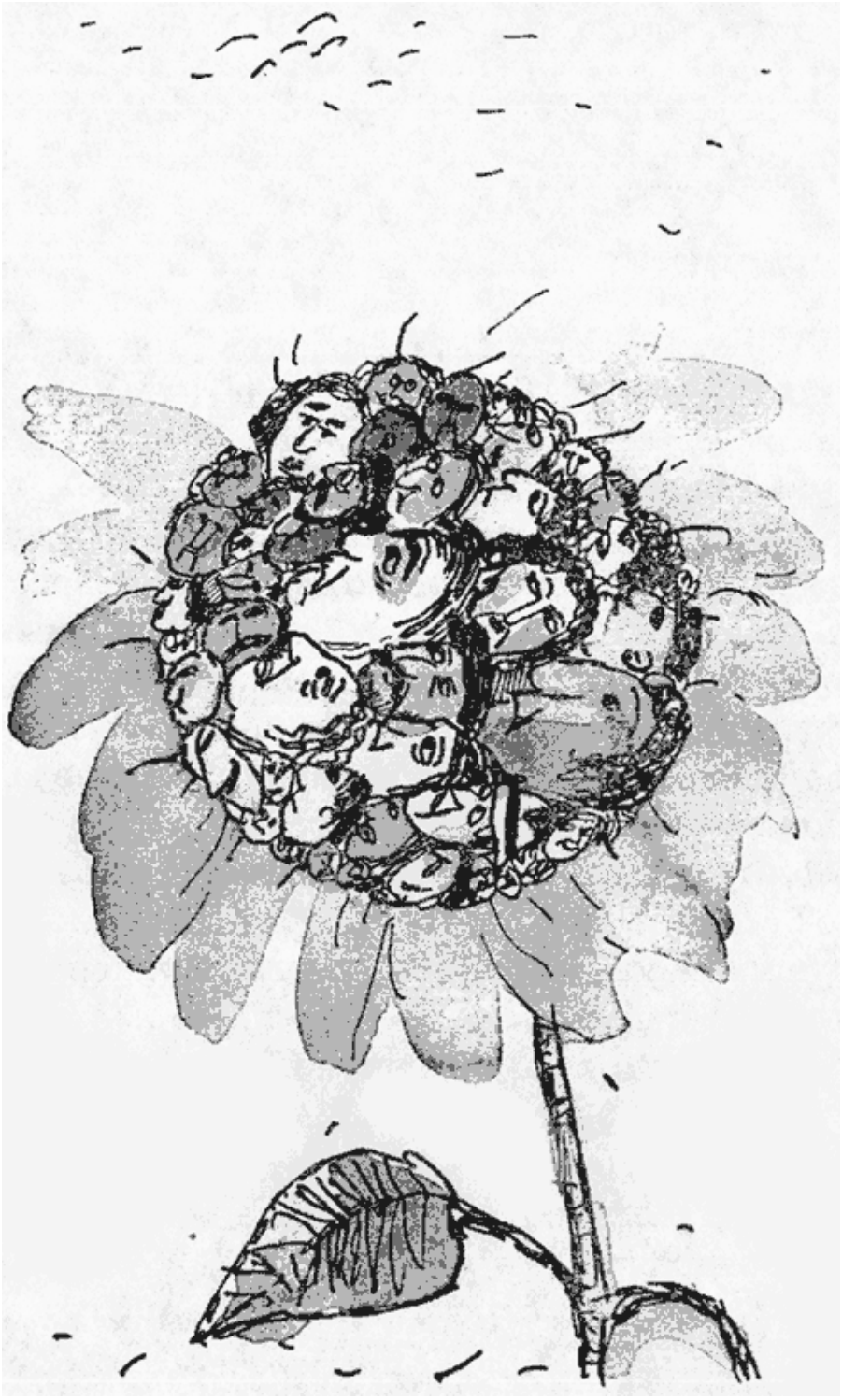
Или собак возьмите до приручения. Жили себе волками-лисами. А теперь человеки их камнями бьют и гоняют.

У подсолнуха нет мозгов совсем, вот он счастливый и предназначенный. У собак их мало, не хватило на воле остаться — приручаться побежали. Вот их Бог и наказал, нечего плохих любить.

А человек, значит, самый умный и от своих мозгов такой разрушенный жизнью и думами. Мог бы правильность направления выбрать, так ведь нет, кидается туда-сюда. Хочет до смерти все успеть. Тайно не верит в вечность души и Страшный суд. Да Бог сам в это не верит, раз вон как распоясались!

Вот!

Прочли? Екклезиаста можете не читать. Он повторяется.



Прозы мне показалось даже мало, и однажды я решила

написать стихи Богу, который занимал мое воображение много лет совершенно зря, потому как, выросши во взрослую тетку, я не доверилась ему:

Стихи для Бога написать
И даже пусть восславить,
Но никогда не выполнять
Его разумных правил.

Сиди там, Бог, на небесах,
Ко мне не приходи,
Я не замечу впопыхах
Твоей большой любви.

Не соглашусь я никогда
Мой бег остановить
И на весы добра и зла
Надежды положить.

А ты реши, кому теперь
Скучать в твоем саду,
Кого-то вытолкни за дверь
Навек гореть в аду.

И не завидуй, не ревнуй
И ярости не знай,
Сам в благочинности ликуй,
Свой садик запирай.

И ты меня не приглашай
К себе ни в рай, ни в ад,
Из-под земли не доставай,
Когда придешь назад.

Мне хотелось прочесть их публично на дворовом празднике, которые у нас регулярно устраивались педагогически озабоченными взрослыми.

Старая большевичка Кремерша решила отметить деньрожденьяленина детьми в объединенном для этого дворе — вместе с соседним домом. С теми, которые у нас фашисты были, если мы — нет, или наоборот, красноармейцы, если мы — да.

Она собрала нас вечером во дворе и сказала, чтобы все выучили стихи, вместо того чтобы просто так валандаться. Тем, кому она доверяла, выдала книжки, а кому нет — листочки с

переписанными стихами. Она написала их печатными буквами для быстроты исполнения.

Мне досталась книжка, в которой было написано что-то вроде:

Ленин нас ведет к рассвету,
А в Америке закат.
Стань под ленинским заветом,
Угнетающийся брат!

Власть народная весною
К коммунизму приведет,
И страну мою родную
Будет славить весь народ.

Берта отказалась учить. Девочки заголосили:

— Ты что, это же про ленина, ты что, ленина не любишь?

— Ленина люблю, но учить не буду.

Она никогда стихи не учила.

Кремерша засуетилась от конфликта, чтоб не назревал насчет евреев, которые не в едином строю. У нас Вася это любил — папе подражал, пока маленький был. И Берте дали просто держать портрет и объявлять очередь.

Лилька принесла домой листочек, а Лилькина мама его забрала и пошла к Кремерше. У нее уже сидела моя бабушка с книжкой, которую дали мне. Кремерша была в слезах, но не сдавалась. Нельзя лишать детей праздника, некоторые (я) уже послушно вызубрили. Решили переделать его в праздник весны и танцевать, а стихи читать всякие, заодно и про Ленина, чтобы кто плохое не подумал.

Кремерша с нами репетировала под надзором соседей. Наконец, день настал, собрались у беседки посреди двора: мамаши, старики и, черт бы его побрал, Васин папа, который шел со смены и заинтересовался.

Он стал икать политически неграмотно во время, когда я про ленина читала с выражением. Его позорно выгнали. Но радость ушла, и плясали лениво. Правда, потом взбодрились: пили лимонад и ели пироги.

У нас вообще много было событий счастливого детства, омраченного воспитанием.

Особенно когда в школу пошли.

В школе

Тот, кто учился в советское время, знает, что такое принудительный школьный хор. Многие только со временем стали благодарны такой возможности — петь после уроков, когда хочется валандаться на улице, а другие — были сразу благодарны, что вместо хулиганства и садового воровства дети были заперты, стояли и пели-выли. Это про плохих.

А уж кто от сердца пел, от таланта — тут что говорить, слава богу, что пели. В нашей старой школе в Ташкенте был такой хор. Особенный хор, девицы старших классов ломились петь — учителем пения у нас был молодой человек. И поэтому песни пели «клевые» — Бабаджаняна твисты, например. Он играл на аккордеоне, был мягок в обращении и, наверно, хорош собой.

Этого я по молодости лет (где то между 1-м и 5-м классами) не могла оценить. И вообще сердце мое было занято вздыхательством: ну вы помните, сосед — Военный Доктор, старый, но стройный, холостой, но со скрипучей матерью в страшном инвалидном ботинке.

Так вот хор. Раз поешь в хоре, надо петь патриотические песни, раз поешь их, то про ленина тоже, раз про ленина, то на его деньрождень приходится выступать. И вот поехали мы в какой-то дворец, построились там на пыльной сцене, наглаженные, в белых кофточках, не успев вспотеть.

Кто поет — тот волнуется, кто, как я, бездарный подвывала, терпит.

Встал наш Учитель перед нами, руками взмахнул, и полилось про ленина, ну что живой сейчас и навсегда. Помните эти песни. Допели, и вдруг — на сцену сбоку выходит Сам, Ленин то есть, натуральный такой, в жилетке, как надо, но мне сверху видно, как у него лысина приклеена. Кепку не помню, удержусь, не совру.

И говорит ленинским своим голосом: «Спасибо, ребята, вы так чудесно пели!» Учитель наш обомлел, а Ильич ему руку тянет пожать. Очень польщен, значит. Тут мы встрепенулись и еще спели, патриотическое. А Ленин стоял на сцене и слушал. Ну вы знаете, как ленин слушать умел, в школе проходили.

А потом я дома рассказывала: нас сам Ленин слушал! И хвалил! Но почему-то старики мои не рассиропились. «Какой дурной вкус у них», — сказал дедушкин лагерный сотоварищ.

У кого «у них»? Сколько надо было идти, чтобы понять…

Грызть ногти не разрешали никому, но все умудрялись. Например, у меня часто случалось как бы «откорябать их» об стенку, раму, кран, дверь, и прям под корень сладострастно так. Никто ж не видел, как я грызу. Так что это никак не очевидно.

Берта не скрывала грызение и орала бабушке: «Ну что ты сделаешь мне, что? Еды не дашь? Да я и так возьму! И спрашивать не буду! Тебя же Бог покарает за жадность. Любимой внучке пирожка не даешь», — кривлялась она.

Лильке приходилось терпеть занудство про то, как микробы попадают под ногти, распухают там, живя своей отдельной жизнью, заводят личинки, и случается страшная гадость, как в учебниках. А потом отпиливают руки под наркозом…

Моя бабушка решила действовать от мечты: вот посмотрите на красивых женщин, какие у них ногти — миндальные формой, блестящие лаком.

Ха, где таких женщин взять? Ну, допустим, у тети Раи ногти и были миндальные формой, блестящие, но все равно ужасные от поломойной работы — в белесых пятнах и трещинах.

У моей бабушки тоже были не ахти, чтоб миндальные.

У Лилькиной мамы — желтые, прокуренные, обрезанные до мяса, лишний раз поглядеть страшно.

Ну да, опять соседка Танька-манекенщица в пример. Как платья мерить и прихорашиваться вместо чтения и музыки — так мы легкомысленные, как Танька. И непутевые, если что. А как ногти грызть — так она нам королевна.

У бабушки был журнал на иностранном языке, там были такие тетеньки с ногтями, в шикарных платьях, с длинными сигаретками и все в дыму. А одна с пистолетом была, у нее было лицо с большой слезой на щеке. А другая с мужчиной в шляпе целовалась на лестнице. И еще там была одна, свесилась с дивана сиськами почти наружу. И никто не на работе. Кто в кафе сидел, кто в машине катался, кто в спальне на подушках…

Эх, вот это жизнь! Вот, смотрите, какие должны быть ногти!

А нам из этого ничего нельзя было как у них, кроме ногтей. Так ничего другого и не получится. Ни платьев, ни диванов, и целоваться на лестнице нельзя даже в будущем. Только ногти. И сейчас.

Тогда лак давайте! Красный и розовый. Тоже нельзя, выгонят из школы, из октябрят, и всё. Хотя сталина и нету, но разврату не потерпят. А лак — это разврат, который даже не у всех взрослых одобряется.

Во надоели!

* * *

У нас в классе был такой крупный мальчик — Хащенко. У него, конечно, имя было, но я не помню. Хащенко — и все тут. Он

плохо учился и был помешан на похабщине. Например, зажимал кого-нибудь в углу, меня вот часто, и требовал говорить быстро слово «поезда». Ну говорю я ему, а он — быстрей, быстрей. Ну я быстрей говорю, а он ржет. Я бабушке рассказала, все хотела понять, почему это смешно. Она даже говорить об этом не стала, но Берта с Лилькой объяснили.

Бабушка в родительском комитете, пошла там жаловаться и все такое. После этого мне, конечно, еще хуже стало. И в углу зажимал, и с поездами приставал, и с другими словами, про которые я уже знала, что нехорошо. Обещал «изнасилить», как только будет подходящий момент. У нас в доме про такие возможности вообще не говорили. Соседки мои уже все знали, я тоже, в общем, знала, но не понимала совсем. Настолько не понимала, что мне даже не было страшно. Только больно, когда щипал и руки выворачивал.

Мать его приходила в школу рыдать: его отец, заслуженный милиционер, как и старший брат, под пулями бандитов проливали кровь, а он вот такой вышел. И били его дома, и запирали, а он все равно только похабностями интересовался.

Моя бабушка решила на него воздействовать культурой и пригласила к нам домой показать картины старых художников — у нас коллекция была из «Огонька» и в книжках. Чтобы перевести похабность его мировоззрения на поклонение красоте. Он очень некультурно смеялся — с набитым ртом, его ведь еще пирогами угощали. А потом в школе говорил, что у нас похабные книги дома.

Не знали, как с ним бороться. Ведь не только мне доставалось. У кого сиськи немного подросли, тех он щипал нещадно и прохода не давал.

В общем, пока советская власть за него не взялась — не было с ним сладу. В восьмом классе он кого-то «изнасилил», как взрослый, его посадили в тюрьму. Потом он ненадолго приходил домой, потом снова в тюрьму. У него в семье уже все умерли, а он до сих пор в тюрьме сидит.

* * *

В школе начиная с первого класса приходилось хотеть быть героем. Надо было если не отдать жизнь ЗА, то хотя бы ее положить, тоже ЗА. Положить — это было более милосердно, все ж протянешь еще некоторое время до бросания на амбразуру, на облачка посмотришь, солнышко там, яблоко скушаешь — успеешь…

Пока не достиг геройства или готовности к нему, жизнь как бы не считается ценностью, она как бы преднастоящая жизнь. В которой должен *«жечь позор за бесцельно прожитые годы» и должно быть «мучительно больно»* за них же и вообще.

А потом как будет подвиг — то есть кладешь жизнь или отдаешь — и всё, вот она началась настоящая, сколько успеешь. У героев жизни раз-два и обчелся.

Неприлично было хотеть жизнь просто так или жизнь себе. Но если кто-то герой для меня или я герой для кого-то на случай пожара, наводнения, мировой революции и недремлющих врагов прогнать, которые ночью у ворот шушукаются, тогда и не нужно помадой краситься и тортики печь, надо с ружьем стоять и глазеть, куда бы еще на подвиг побежать?

Профессия

Я не все время ныла соплями. Я готовилась к жизни. Еще задолго до того, как я замахнулась на манекенщицу и балерину, у меня была любимая будущая профессия.

Мне хотелось стать крановщицей башенного крана.

Наблюдая близко это занятие, я находила в нем много заманчивого. Крановщица работает одна в своем гнезде, высоко в небе, вокруг летают птицы и свистит ветер. Сверху ей видно много: и город, и горы вдалеке, и люди кажутся маленькими и нестрашными. И если она сильно рассердится, то может все порушить, размахнувшись тяжелым черным крюком.

Как Афина Паллада, про которую мне читал дедушка и показывал картинки.

Крановщице позволено огрызаться, визжать, толкаться и раздавать затрещины. Громко петь и хлебать прямо из бутылки, не наливая в стакан или чашку, которые ставят на блюдце. Она может сплевывать, ковырять пальцем в зубах, курить папироску. Столько свободы ей за башенный кран!

Но что-то подсказывало мне внутри, что мой тайный возлюбленный Старый Военный Доктор не женится на крановщице. Представить его получающим затрещины или огрызающимся в ответ? Нет, так ведь и разлюбить недолго.

А на свете нет ничего важней любви.

И я оставила мечты стать Афиной Палладой башенного крана.

Но мечты стать балериной мне тоже не помогли, потому как Доктор так на мне и не женился.

Вообще

Взрослые жители нашего двора были гораздо дальше от совершенства, чем им хотелось бы нам внушить.

Я даже не говорю про Васиного папу, который этого совершенства хотел, добрея после пьяного свирепения. «Кается, как истый христианин», — говорил про него одноногий сапожник Гриша, у которого в будке позади шнурков и ваксы всегда была чекушка — глоток Васиному папе на опохмелку для придания доброты.

Лилькина мама — детородный доктор тетя Римма — курила, а это было вредно здоровью, она сама же говорила, но курила даже дома в кухне, а не только на балконе, как все более правильные люди в этом отношении. Ее муж, инженер Бергсон, хоть и был чемпион по боксу и не выносил табака, ее не бил, но однажды от гнева покалечил свой кульман — большую чертежную доску, которую нельзя было трогать никому.

Моя бабушка ругалась, трескала меня тряпкой и просто руками, лишала сладкого, а сама сплетничала и дралась с соседом — пьяным свирепым Васиным папой, когда тот пытался побить Васю. Вообще, Васиного папу надо было застрелить за неисправление. Я так дедушке советовала, потому что, во-первых, дедушка не терпел публичного безобразия, а во-вторых, ему полагался пистолет, и он хранился у бабушки под замком в комоде.

Бертина бабушка сама беспрерывно что-то жевала, и Берту растолстела, и Яша-маленький был на очереди толстеть, вечно куски в карманах. А тетя Рая, ихняя мама, работавшая на трех работах, была худая как жердь. Это значит, что ей не доставалось еды, они все за день уплетали.

Да что и говорить! Где брать идеалы, чтобы расти правильно? Ленин? Пушкин? Дедушка Калинин? Еще про Хрущева скажите! «Неоднозначная фигура», как говорил дедушкин друг и бывший сокамерник.

Третьеклассник Борька, Бертин возлюбовник, хотел улететь на Луну и там основать город хороших. Но у него тогда не получалось. Не получилось и потом.

Размышления об исподнем

Хотя все говорили, что моя бабушка — почтенная дама, ее нижние льняные рубашки, неумело вышитые моей дурной рукой кривыми цветочками, никак нельзя было назвать Дамским Бельем.

Дамское Белье — это сложный и волнующий предмет. Это немногое вкупе с духами, помадой и крепдешиновыми платьями может скрасить жизнь после взросления. Ближайшее, что без сомнения было Дамское Белье, — это гэдээровская Комбинация тети Оли из нашего подъезда. Она осторожно стирала ее в тазике и вешала сушиться на плечиках в общекоммунальной ванной.

Моя подружка Галя, дочка греческих коммунистических беженцев, жила в этой квартире, она имела счастие часто трогать это кружевное белое ангельское воздушное невесомое шелковистое капроновое чудо.

Мне тоже перепадало, когда Комбинацию сушили без присмотра, Галя стучала мне шваброй три раза, и я бежала к ним наслаждаться.

Однажды мы заигрались у них в коридоре, а коммунальный сосед дядя Николай, совсем даже не тети-Олин муж, пошел в ванную и стал нюхать Комбинацию и нежно вытирать об нее лицо.

— Дядя Николай, вам тоже нравится ее щупать, да? — не удержалась я и уже приготовилась сказать, что особенно мне нравятся шелковые бретельки, как дядя Николай буркнул невнятно и убежал.

Галя сказала, что он так часто делает, а потом напивается.

У его жены не было никакой Комбинации. Она, может, и купила бы за любые деньги, зарезала бы и ограбила ради такого сокровища, она могла бы, она была суровая женщина. Но такого размера комбинаций не существовало.

Существовал синий завскладовский халат, в котором она ходила круглый год. Летом из него ничего не торчало, а зимой — страшные, несовместимые с покоем сердца штаны. Я даже не могу сказать, какого они были цвета, я старалась не смотреть на них. Они отбивали всю охоту жить дальше.

Я привыкла посвящать бабушку в интересное из моей жизни, и мы с Галей всё ей рассказали. Бабушка почему-то вспотела лбом и осторожно спросила, был ли дядя Николай одет, когда вытирал рот Комбинацией, и делал ли он что-нибудь еще. Что еще? Жевал ее? Зубами драл? Нет же!

— И, конечно, одетый был, он только с работы пришел, в

комбинезоне. Если ты целый день прикручиваешь страшное экскаваторное рыло к железной экскаваторной шее, захочется нежное потрогать, — защищали мы дядю Николая.

— Его же в театры не таскают, — съязвила я.

Бабушка пошла к соседке, не знаю уж, что она ей сказала, но нас лишили Комбинации. Она теперь одиноко сушилась в тети-Олиной комнате под замком. Моя подружка Галя обиделась на меня — ябеда, мол, хотя она со мной же бабушке докладывала и показывала еще, как дядя Николай вытирается!

Предатели все!

Нам с подружкой Галей не случилось жить вовремя в тех странах, где была сексуальная революция или законное изучение человеческой сексонатуры.

Недавно, сидя в европейском кафе, мы вспоминали этот случай и теперь с уверенностью можем сказать, что дядя Николай был не просто уходящей молодости пролетарий, он был ФЕТИШИСТ, а несчастная Комбинация была его ФЕТИШ.

И мы продолжаем одобрять вкусы дяди Николая.

* * *

Еще про дядю Николая и его любовь к Комбинации.

У тети Оли, кроме гэдээровской Комбинации и многа помадных тюбиков, не было других достоинств.

Она всегда гоняла дядю Николая: и чекушки не прятать под коммунальной ванной, и ногти стричь только в своей комнате запершись, и ваще…

И собственный муж ее тоже не любил и всегда норовил смыться в выходной. «Меня „дисретация“ ждет, — говорил он, — не успеваю».

Ха, знаем мы такие дисретации. Уж в комбинациях стоят, ждут!

И невыносимые штаны в завскладовском халате говорили, что это баба у него там. У культурных бабы так называются.

Тети-Олин муж был тенью. Так говорила тетя Оля: ну не мужик, тень какая-то, тут, мож, меня убивают, а он пальцем не шевельнет.

Мы бы тоже не шевельнули, такая она была противная. Когда я над музыкальными уроками корпела, она зайдет и давай поправлять, что у меня руки не так висят… и Галю гоняла ноги мыть. Ишь, царица!

У них вообще было не то чтобы весело в квартире, или как тетя Эвридика, Галина мама говорила, в стойле, но много

происходило и ожидалось произойти в зависимости от степени пьянства двух мужских жителей — дяди Николая и дяди Орести. Дядя Орести — тети-Эвридикин муж и Галин папа — был политический беженец, командир партизанского отряда и греческий коммунист.

Тетя Эвридика тоже была партизанка, но учение в театральном институте смягчило ее коммунистические мысли, и она вышла из ихней партии, а в нашу не вступила. Дядя Орести, будучи пьяным, проползал спать, разве только иногда останавливался в коридоре немного поплясать, а дядя Николай проползал в общую ванную шарить спрятанную на полу под ванной чекушку, чтобы добавить. Тут приходили невыносимые штаны и били его, лежачего, ногами. Поэтому, если тете Оле именно в это время надо было накручивать бигуди, она шла к нам и шипела про соседей.

Дядя Николай считался хуже всех, самый частый вопрос, который ему задавали все, был «ну сколько можно?». Но ответа никто не ждал, начиналось: дети смотрят, милицанера позову…

Обычно дядя Николай молчал, но иногда срывался в крик: не могу больше! И штаны кричали: не могу больше… и тетя Оля, уж конечно, не могла больше, и греческие коммунисты — столько горя пережили и тут еще…

Но нам с Галей еще долго было интересно и многозначительно.

* * *

Хочу покончить с подозрительностью белья простодушно и не психоаналитически.

Для детского человека самая загадочная вещь Дамского Белья — бюстгальтер. Это не только трудное слово, но и сложное архитектурное сооружение, напоминает египетские пирамидки. А если бы сиськи были прямоугольные, то готический собор, а если бы их была одна — зиккурат. А если бы много — то частокол.

В бюстгальтере тех времен было много пуговичек, петелек, бретельки, чашечки и корпус. Этот корпус, я слышала, бывает на «косточках». На каких, куриных или тех, которые собаки едят? А нет! Нету там никаких косточек, это такое выражение! Как нектар амброзия. Железки там.

Всё в Дамском Белье многозначительно и в переносном смысле, и напоминает, и намекает о чем-то неведомом, и служит красоте вообще… А не просто чтоб грязь и пыль не попадала в попу, или чтоб сиськи не болтались, когда тетеньки бегут за

автобусом.

Это мужское белье должно быть таким, чтобы в нем было возможно или удобно сидеть в танке, на рынке или стоять на посту.

Мужское белье тех времен было так пугающе отвратительно и на цвет, и на ощупь, что я даже спрашивала, нельзя ли жениться на женщине, чтобы избежать сатиновых трусов, носков и кальсон.

Конечно, я очень любила дедушку несмотря ни на какие кальсоны, но чтоб еще муж с кальсонами? Ну нет, это уж слишком! А если к ним вдобавок еще усы и шерстяная грудь? И ногти на ногах, как у рабочего экскаваторного завода соседа дяди Николая, которые вылезают из этих страшных носков?

Хорошо, что мой возлюбленный Старый Военный Доктор всегда ходил одетый в красивую военную форму и обутый в закрытые ботинки.

И, конечно, у него не было кальсон, никаких кальсон! Просто серые носки. Я видела, когда он в машину залезал! Хотя у моего доктора такое очарование души, что даже если бы и кальсоны, ох, даже если бы…

Выражение чувств

Я вообще-то была суровая девочка, плакала редко и без свидетелей. Но один раз случилось мне заплакать публично, да еще так горько, что я помню это до сих пор.

Одна культурная знакомая бабушки приходила к нам в гости. Мне нравилось, когда она к нам приходила, они пили чай, и знакомая эта не лезла ко мне с нетактичными просьбами: рассказать стихотворение с выражением или сплясать.

Зимой у нее было еще одно хорошее свойство: у нее вокруг шеи имелась отстегнутая лиса с мордочкой и стеклянными глазами, ее звали горжетка, и мне давали ее поиграть.

Мне было жалко лису, в глубине ума я понимала, что лиса уже мертвая. Ей было очень страшно, когда на нее напали и убили, и вся моя душа от этого переворачивалась так, что даже в ногах было жарко, а в животе — холодно. Но играть с лисой хотелось, хотелось гладить ее, чувствовать приятный щекотливый мягкий мех. Поэтому я на время забывала, как ее убили, и думала, что я ее так жалею. Позже я поняла, что это называется подлость и самообман. Но этого не избежать потом, во взрослости жизни, так что надо привыкать по чуть-чуть к подлости путем удовольствия от лисьего меха.

В общем, старушки чай пьют, болтают, хихикают или плачут, а я лису глажу, тоже с ней болтаю и жалею.

А потом мы пошли их (с лисой) провожать на троллейбус, и, когда старушка уже в дверях поднималась, ее прищемило. И лисье личико прищемило. И стеклянный глаз выпал из перекосившейся зажатой лисьей мордочки.

Мало того что ее тогда убили, так сейчас еще зажали дверьми, и глаз выпал и разбился на мелкие кусочки!

Это непереносимо никогда!

* * *

Воспитанная барышня должна вести себя так, будто на нее всегда смотрят.

— Даже в туалете? — Это называлось идиотничать. Но оказывается, в каком-то смысле да, после настоящей барышни в туалете было пристойно, сразу видно, какой культурный человек там был. Я уж помоталась по сортирам и необъятной родины, и других далеких стран, и я вам так скажу: барышень мало.

Или, например, нельзя на людях поправлять трусы, вытирать

сопли о платье. Дома полагались цирковые упражнения с вилкой и ножом без страховки и не сметь жевать салфетку! Сидеть прямо, в гостях конфеты не хватать горстями или вообще не хватать! Не вздыхать и не смотреть на них красноречиво!

А во дворе быть барышней совсем было неуместно. Все воруют черешни, а ты не смей. И если кто-то бегает с дохлой крысой на палке — ты тоже не смей бегать с ним и визжать.

Самое обидное — настоящая барышня не должна драться. Почитамши из «Дон Кихота», налюбовавшись картинками, я решила избрать рыцаря. Чтобы за меня дрался в неизбежных случаях.

В нашем дворе годившихся в рыцари было немного, у кого были засохшие сопли, и он все время шмыгал носом, у кого рваные штаны, на которые лучше было не смотреть. У третьего были цыпки, мать его работала в три смены, поэтому он, можно сказать, жил во дворе. Моя бабушка ловила его и мазала ему руки вазелином. Был приличный мальчик из докторской семьи, тоже жертва своей бабушки, которая, видимо, хотела сделать из него профессора, его заставляли заниматься музыкой и чтением вслух. Он сидел на балконе и тоскливо смотрел сквозь решетку.

Пришлось выбрать коротышку из соседнего двора, худого любителя змей и лягушек, которых он носил в карманах. В нем была отчаянная вежливая независимость, это вызывало зависть и восхищение.

Надо было как-то сообщить о выпавшей ему чести. Я написала записку: «Я выбрала тебя моим рыцарем». Сунула ему в руку.

Растерялся, взял, сунул в карман. Всю ночь я боялась, что он забудет ее в кармане, и лягушка ее сжует.

На следующий день к нам пришла его мама. Они разговаривали с бабушкой, смеялись, потом вызвали меня. Она взяла меня за руку, сочувственно, как говорят с глубоким прискорбием, сказала, что ее сын еще не умеет читать, поэтому он дал мою записку ей. Она очень благодарна за доверие, но боится, что ее мальчик не справится с ответственной задачей. Бабушка от себя добавила, что в жизни надо рассчитывать на себя. Все мило так, как будто о хорошей погоде говорили.

Пришлось затаиться и довольствоваться своим вечным рыцарем — Старым Военным Доктором. Уж он-то умел читать, не беспокойтесь. Он был настоящий рыцарь, красиво одевался в мундир, был высокий, худой, у него была аккуратная бородка, он улыбался. Он был благороден, у него даже был конь — серая «Победа» с прохладными сиденьями, на которой он катал нас, дворовых детей.

Его подъезд был в самом конце дома, поэтому можно было долго смотреть, как он проходит вечером по двору. Верная заветам бабушки рассчитывать на себя, я не докучала Доктору. Он так и не узнал, что был моим рыцарем.

Наверно, не только моим.

Всякие соседи

У одной соседки умер муж. И выяснилось, что у него была тайная сберкнижка, куда он заначки складывал, и завещана она чужой женщине.

То есть отдавал жене зарплату, она по рублю в день выдавала ему, а у него, значит, оставалось.

Жена по карманам не шарила, благородная женщина.

— А зря, — говорила ей сестра, — нету таких, чтоб без заначки.

Да на что заначить? Не пил, не курил, в карты не играл, в библиотеку ходил газеты читать, пальто перелицованное двадцать лет носил. Ну в санаторий ездил, нарзан пил, все на виду.

Делать нечего, вызвали завещаемую. Встретились в юридической конторе. Вдова волновалась, но сестру не взяла, еще начнет орать по привычке — у ней муж алкоголик.

Чужая женщина оказалась сильно моложе, скромная, не удивилась, знала про завещание, оказывается, он ей письма писал. Предупреждал про сберкнижку. Пошли на кладбище, над могилой постоять.

Вдова не выдержала: что, как это? Дети есть? Где были все эти годы? Не молчи, ведь общее горе у нас теперь.

Никаких детей, никакой любви.

Она ему сестра, можно сказать. Его отец с домработницей ее, девочку, прижил. В детдом сдали. Вот сын и помогал, за отца вину чувствовал.

Индийское кино.

Семья Чистяковых состояла из очень длинных людей — мать, отец, сын и дочь. Молчаливые, плоские тени. Проходили по двору с завода вечером, трезвые, медлительные. Сидели на балконе, жевали арбуз и лепешки. Иногда говорили пару слов: «Здравствуйте, как здоровье?»

Неживые какие-то. Соседи судачили про дочку, как замуж ее выдать, рыбину, глаза блеклые, молчит. Подозревали в слабоумии. И сын, и отец — всегда трезвые. Тоже странно. Кто ж на заводе трезвый? Тоже от слабоумия, наверно.

В один прекрасный летний вечер дочка пришла с работы, заперлась в ванной. Взломали дверь — а она повесилась. У нас потолки высокие, на трубе какой-то крюк был, вот она туда веревку и закинула.

С тех пор остальные — родители и брат — стали пить. Как все люди.

* * *

В нашем большом доме никто так не интриговал меня, как соседская дочка сверху, молодая красавица с необыкновенной профессией: манекенщица. Ну какой девочке не хочется мерить красивые одежки целый день? Краситься? Делать прически? Плавно скользить по дорожке под восхищенными взглядами?

Сейчас-то я понимаю, что Ташкент — не Париж, соседка моя — не Жизель Бундхен с миллионной зарплатой.

Но тогда! Как она ступала во двор, легкой походкой, как улыбалась!

Я пожирала глазами каждую деталь ее платьев, рисовала дома эти наряды, канючила у бабушки сшить такое же из грошового ситчика или старой юбки.

Господь обидел меня, так и не дал мне красоты и всего остального, но тогда я об этом еще не знала, надеялась вырасти похожей на нее и была уверена, что наряды обеспечат мне этот блеск.

Естественно, наша героиня имела поклонников, ореол ее красоты украшал и ухажеров, про них сплетничали благосклонно, награждая героическими профессиями, серьезными намерениями, отдельной квартирой и хорошей зарплатой.

А теперь я должна сделать некоторое отступление. В 1937 году, когда пришли забирать дедушку, была глубокая ночь. Энкавэдэшник попался добрый, не стал переворачивать вверх дном всю квартиру, стеснительно потоптался перед дверью, прежде чем постучать. Но с тех пор бабушка не переносила

никакого топтания у двери в ночное время. У нее начиналась паника, и никакие доводы разума не действовали на нее.

В какую-то позднюю ночь возле нашей двери началось это страшное топтание, приглушенный разговор, шорохи. Ну, вы понимаете, что началось с бабушкой! Дедушка подошел и рывком открыл дверь, в нашу квартиру буквально упала парочка. Хорошо, в коридоре горел свет. Бабушка сразу увидела, что это не энкавэдэшники. Смущенная красавица наша и молодой человек, несомненно, с героической профессией, серьезными намерениями, отдельной квартирой и хорошей зарплатой.

— Ах, простите.

— Ах нет, это вы простите…

Под угрозой страшной кары, порки и вечного проклятия мне запрещено было упоминать об этом даже в разговорах с моими куклами!

Я ждала полвека.

* * *

— Клеенку-то сыми! Да побыстрей, на весу держим!

Женщины отодрали от стола клеенку, мужчины поставили гроб. В общем дворе старого ташкентского дома суетились. В котле варили плов, расставляли лавки, выносили стулья из квартир.

Гробик был небольшой, для своих двенадцати лет Толян был щупленький, и ростом не вышел, осталось место в ногах. Поставили в рамочках покойных родственников, деревянных мишек и козлов — он лобзиком выпиливал в кружке.

Подвели детей прощаться: только пальцами не трожь. Маленькие ревели.

— Ну, напоследок все гурьтесь[5] с Толиком. — Сосед с фотоаппаратом размахивал руками, сам залез на табуретку, чтобы серое Толикино лицо в кружевных простынях получалось в середине.

Тем временем подкатил грузовик. Вынесли гроб, стали садиться по лавкам и на пол в кузове. Мать под руки повели в кабину.

Хоронили на Коммунистическом.[6]

— У нас там и дед-балшувик, и дядя, все свое, огорожено, там промеж них и положим.

Отец сказал речь:

— Ну, значит, вот, Толян мой убился, проводом убило. Электрическим. Говорил ему… — и беззвучно заплакал.

Мать опять пыталась кинуться на гроб, но ее оттащили.

Учительница всхлипывала: Толик Кабанов учился хорошо, тихий был. Построила пионеров отдать честь. Засипели горном, клянемся тебя помнить, пионер Анатолий Кабанов!

Инвалид из кружка рассказывал, как Толик любил зверей выпиливать, а потом раскрашивал…

— Скорей давайте, жарко, портиться начал. Закрываю.

— Опускайте.

Женщины осмелели — крестились.

Нищие, деликатно стоявшие поодаль, стали подтягиваться поближе. Им раздали мелочь.

Расплатились с грузовиком: на трамвае доедем.

— Ты его одежку возьми, а ботинки Сашке отдам, твоему малы будут.

Стало совсем жарко, во дворе в тени дерева был накрыт стол. Нехотя поели, выпили. Пошли в комнаты, в прохладу.

Над столом лениво кружились мухи.

* * *

Ее бы и так не взяли замуж, потому что ее брат сидел за убийство. 25 лет. Наверно, ей надо было уехать куда-нибудь, но мать не захотела: надо быть поближе к тюрьме, может, освободят досрочно.

Отец не пережил позора — умер от инфаркта. Еще одна причина не уезжать — могила рядом.

Родственники предлагали дочке перебраться к ним, в другой город, начать новую жизнь, помочь. Но мать боялась одна, давила на совесть.

Ах, какая преданная мать, раз в неделю на кладбище, раз в неделю в тюрьму, повидаться через решетку. Как любит сына, как любит мужа! Ах, какая дочь жестокая, не понимает материнских чувств!

Дочь работала в аптеке. На виду. Когда ей было сильно за тридцать, посватался один пожилой, не посмотрел на позорного родственника. Мать сопротивлялась долго, зять обещал ей, что из города не уедут, поселятся рядом.

Поселились рядом.

Сынок-убийца между тем отсидел. Похоже, не исправило его заведение, нож наготове, гулял недолго. На этот раз отправили его в Сибирь. Мать собралась, сняла угол в городишке недалеко от тюряги.

Ах, какая преданная мать, урну мужнину выкопала, с собой

взяла, и как раньше — раз в неделю в тюрьму, повидаться через решетку. Как любит сына, как любит мужа! Ах, какая дочь жестокая, не понимает материнских чувств!

Дочка туда-сюда мотается, а ведь не наездишься, прописка, работа грошовая, муж устал, мать плачет.

Интересно, кто первый умер? Или никто? Все ездит и ездит в плацкартном?

* * *

В числе загадочных соседей в нашем большом Ташкентском Доме была полусемья Семеновых — молчаливая строгая мать и длинная не по годам девочка Таня.

К ним нельзя было зайти просто так, они никого не угощали. Иногда мать говорила: Таня нездорова, ты можешь посетить ее.

Таня часто болела, и часть дружбы с ней составляло сидение возле ее кровати и сплетничанье про соседские игры. Она много читала и размышляла, как все болезненные дети, она была тиха, доброжелательна, мало говорила, охотно слушала. С ней было спокойно и ожиданно.

Со временем она окрепла, поступила в институт, оставаясь незаметной, тихой девушкой. И вот на пятом курсе, когда решается судьба распределения, она вдруг решила выйти замуж. Это было большой неожиданностью для ее матери, да и для соседей тоже, никто никогда не видел ее с кем-нибудь, так, чтобы подумать о сватовстве или хотя бы о романе.

Неожиданно в квартире начались громкие скандалы, мать стояла насмерть: не пущу.

Избранником Тани Семеновой оказался пожилой вдовец — татарин с двумя детьми. Где и как она познакомилась с ним, как встречались, как сдружилась с детьми — это была тайна.

Он пришел знакомиться и был позорно публично изгнан на глазах у всего двора. Мать вцепилась в Таню руками во дворе, он не решался драться с матерью невесты, беспомощно стоял рядом, его дети топтались поодаль, держали в руках подарочные пироги и плакали.

Соседи — рабочий экскаваторного завода Чистяков и инженер Бергсон, бывший чемпион Узбекистана по боксу, — молча подошли и оторвали Танину маму от Тани. Она зарыдала у Бергсона на груди, в это время Чистяков затолкал в такси Танин чемоданчик. Смущенные дети протянули ему пироги.

Таня с новой семьей уехали, а мужики повели Танину маму с пирогами домой. Сосед Рагутин принес чекушку. И все они долго

ее утешали.

Таня родила еще двоих детей, и со временем все помирились.

* * *

Кремерша была забавная соседка. Кровати, связанные бантом, в спальне, порядок, салфеточки, сахарницы-сухарницы-конфетницы, счастье каждую минуту от праведного бытия. Ихняя дочка сбежала в Ленинград, училась там и вышла замуж за алкоголика, но местного, чтобы прописку иметь и не возвращаться среди салфеточек жить.

У них, Кремеров, пенсионеров союзного значения, ветеранов войны и старых большевиков, все было правильно. Отрывной календарь каждый вечер прочитывали и выкидывали, газеты складывали в стопку. Жизнь у них шла как кукольная — каждую минуту знали, что надо делать. Они вообще добрые были — сидели с нами, когда надо, организовывали на праздники. Про Ленина стихи читать, и все такое правильное. Они были партии благодарны, хотели эту благодарность привить и нам, и следующим за ними поколению. Мы были неблагодарные дети — чурались их, скучно с ними было, хотелось гадость сотворить. Плюнуть на пол, бумажки у них в туалете изорвать.

Я думала: почему так? Почему мне хочется плохое сделать им, таким хорошим людям? Почему меня Бог не оберегал от зла или знание добра не оберегало? Я старалась вести себя правильно, только один раз бант с кровати сперла, и то не для себя, а для Зигатуллиной из нашего класса — ей красный бант хотелось.

Как бы пристроиться к идеалу навсегда? Идти с ним рядком, с такими вот Кремерами-большевиками в ряд без задней мысли? И чтоб плохое, озорное не чесалось внутри?

Когда старый Кремер умер, приехала дочка из Ленинграда. Печальная во всем — и муж-пьяница, и отец мертвый, и работа в больнице тяжелая, и с матерью надо что-то делать, да кто ж ее в Ленинграде пропишет? А еще ее осуждали соседи — вот, бросила родителей.

Получается, не жить никому своей жизнью. Сплошной долг отдачи. Так вот все по цепочке и живут — долгом. А счастье? Птица для полета? Свобода, там? Жизненный выбор? Куда девать их?

Ну забрала она мать в свою коммунальную комнату, восемь соседей, очередь в ванной. Та через полгода обратно приехала — зять ругается, грязь на кухне, кастрюли не чищены, календаря

нет.

Умерла одна, квартира пропала — соседи негодовали.

* * *

— Вообще, деточка, в это просто нельзя поверить!

Я была в Китае, медицину преподавала и посылала сестре в лагерь лапшу из Пекина. В лагерь! И посылки приходили. И даже никто не смел украсть, потому как заграница.

Сестра в лагере в Сибири читала лекции по Древнему Риму вечерами, даже вертухаи слушать приходили! А я в Пекине в университете преподавала западную медицину. Неисповедимы пути твои, Господи!

Вообще, нам китайцы так и говорили: ваш неправильный сталин умрет скоро. Мы втайне молились, чтобы умер. А с другой стороны: ну умрет, а заменят кем? Таким же…

Китайцы тогда казались счастливыми. Казалось, что у них, как у нас после революции, подъем души и доверие друг к другу. Мы истосковались по доверию. Вот засыпаю, и снится мне, что коллега мой Сидоров на меня донес. Когда в посольство приглашали — боялись. Как будто в нквд идти.

Да ладно, пережили. Сейчас мне главное, чтобы Алеша выздоровел.

Алеша — врач, сын профессора Ивановой, — привил себе какую-то тропическую заразу, чтобы испытать на себе новое лекарство.

Выжил.

* * *

— Турецкий шпиён, турецкий шпиён идет! — кричал Борька.

Мы бросали свои игры и собирались в молчаливую испуганную кучку.

Старьевщик Садыр-ака, запряженный в скрипучую двухколесную арбу, медленно катился во двор.

— Шаёбеёоо, — вырвалось из его коричневой сухой груди так страшно и печально, что никому не хотелось передразнивать его или кидаться комками сухой глины. Это «шаёбеё» — «старьё берём» — было невнятно, он вытягивал шею и мычал. Соседи уже понимали, кто пришел, и спускались вниз во двор с разной ерундой. Бабушка обычно давала ему рубль. А он пытался поймать ее руку и поцеловать.

Садыр-ака был на вид очень старый человек, хромой, худой, но на самом деле ему было всего шестьдесят с небольшим. Где-то у него была дочь, внуки, никто их не видел. Он жил в сарае за хлебным магазином, свою арбу с барахлом держал на улице.

Однажды зимой мы с бабушкой пошли отнести ему угля для буржуйки. Я боязливо сунулась в его вонючую каморку. Садыр-ака лежал на топчане, укрытый одеялом и пальто, на буржуйке — маленький закопченный чайник, лепешки в сумке, подвешенной к потолку на крюке — чтоб крысы не объели. Каморка была полна книг. Старых, темных, с незнакомыми буквами. Он поманил меня, беззубо улыбаясь и клокоча непонятными звуками, вытащил книжку с картинками: олени, девушки в старинных одеждах и чалмах, жар-птицы, кружево букв…

Бабушка подмела, дала ему лекарство, варенья, заварила чай. Позвала к нам жить, пока не выздоровеет, но он замотал головой.

— Садыр-ака был ученый человек, он выучился в Истанбуле, в университете, потом в лагере в Сибири отморозил язык, вернулся в Ташкент, жена отказалась от него, «врага народа и турецкого шпиона» не брали на работу.

Вскоре он пропал, не нашли его, чтобы похоронить по-человечески.

* * *

Училки Бронислава Исааковна и Лариса Дмитриевна были подружки. Учились вместе, работали в одной школе, первая — английский, вторая — математика.

Родители Брониславы наседали — пора замуж, Бронислава хоть и не красавица была, но веселая, душа компании. И отец ее был провизор в аптеке. По тем временам считался нужный родственник.

Бронислава сопротивлялась: походы в горы, песни под гитару, кино, театры, Лариса подпевала. Родительский пример занудства: варенье, газета утром, тапочки, с души воротило.

Наконец объявила твердо: без Лариски замуж не пойду. Как она, так и я.

Родители засуетились, пригласили мамашу Ларисы Дмитриевны познакомиться и узнать ее виды на женихов. Оказалось, что у нее нет видов, и четких планов о судьбе дочери тоже нету. Удивилась: не мое это дело, женихов искать.

Брониславины обмерли: да как же? Надо же хорошую семью, чтоб не пьяницы, и вообще.

— Глупости какие, жениться вместе! Ну делайте как знаете,

хотите и моей Лариске жениха искать — давайте, — засмеялась Ларискина мамаша и пошла на работу. Она была врачом на скорой и любила работать ночами.

Брониславины родители засуетились, у них на уме одни евреи были, была украинская родня, но далеко. Решили остановиться на еврейских.

Девушки посмеивались, наконец было объявлено, что в выходной будет знакомство. Женихи придут с родителями к ним, а потом молодежь уйдет гулять.

Завуч была в курсе, советовала, как присматриваться. Брониславе подвыщипали брови в учительской.

Наконец наступил долгожданный день. Девушки сидели за круглым столом, заранее давились от смеха, но внутри, конечно, резвился бесенком маленький трепетный интерес…

В понедельник в учительской стояло радостное щебетанье: женихи понравились, одна была проблема: как их, близнецов, различить. Бронислава и Лариска, потеряв всякое приличие, толкались, хихикали: я своего крестиком отмечу, ТАМ! А потом меняться будем…

Училки краснели, физрук ржал.

Женихались недолго, и в один прекрасный день Бронислава и Лариса в одинаковых белых туфлях под руки с близнецами потопали в загс.

Отец Брониславы острил в мужской компании: эх, еврей пошел нестрогий, так бы Бронькиного обрезать, а Ларискин целый останется. Уж тут не перепутаешь!

* * *

Всегда хочется умилять сердце, несмотря на многое происходящее. Вот еще одна счастливая сущая правда.

В детском саду тогда мальчиков заставляли надевать чулки с резинками под короткие штанишки.

Само по себе отвратное зрелище, а на Илюше это было смешно. Чулки были длинны ему, свисали, скапливались гармошкой, мешали двигаться. Илюша Гринберг вообще неуклюжий был, воспитательницы жалели. Лишнюю ложку каши положат — такой худющий.

Казалось, только его собственная бабушка не жалела Илюшу: скорей, скорей, шмендрик,[7] торопила, шлепала. Илюша застывал на месте, глаза в землю. То ли от упрямства, то ли от отчаяния. Она подталкивала, тянула, так они доплетались до детского сада, и она облегченно сдавала его на руки

воспитательницам. Потом его так же тянули в музыкальную школу, сначала со скрипкой-четвертинкой, потом с виолончелью, а потом бабушка умерла, и он честно стал ходить один.

В школе его не били, в друзья тоже не брали. Хотя учитель предрекал ему будущее Эйнштейна, Илюша пошел в скромный Ташкентский ирригационный институт. Мама сказала: чем скромней, тем спокойней, и диплом получишь, и не загремишь куда не следует.

В институте он стал пошаливать: на хлопке[8] курил анашу, выпивал, но в меру, не хотел огорчать родителей.

С четвертого курса его стали отправлять в Киев к родственникам, у тех было полно невест. Сначала ездил нехотя, потом привык, даже сам рвался. И вот в один прекрасный день он явился с невестой: большой беременной украинкой из Киевской области. Откуда он ее взял? Как утаился от родственников?

— Та он в нас кажно лето був, та не хвылюйтеся, татко не дывыться, хто жид. В мене уси партийни, — успокаивала родителей украинка.

Бегала по дому большим громким ангелом: «Та сидить, мамо, я ж принесу!» — пока старушка повернется, уже и тарелки на столе.

В доме завелись галушки, сало от родственников, крестили младенчика, потом второго. Потом повели обоих на скрипках учить.

— Малого на украинке оженю, другова — на жидивке. Шоб справедливо. А этот сам буде думать, — говорила украинка, поглаживая живот, — этот вертучий шмендрик, уже норов показуэ.

* * *

Наталья Тимофеевна была немолодая соседка.

Где-то она работала, приходила в шесть вечера домой, в авоське — хлеб, редиска, пара огурцов, папиросы, никуда не ходила больше, ни семьи, ни родных, ни застолий с друзьями.

Она развлекала приметами свою пустую жизнь, идет по двору: ой, ветку задела справа, на камешек наступила — значит, деньги найду! Она сообщала эту новость всем: детям, которые отвечали тупым молчанием, старухам на лавочке, которые злобничали ей вслед («да, найдешь, в подоле принесешь»), мужским соседям, которые понимающе ухмылялись.

Вечерами пару раз в неделю она наряжалась цыганкой в цветные платки и ожерелья, садилась у окна своей комнаты на

первом этаже, курила и негромко напевала многозначительные слова. Ну такие зазывательные, как те, которые Илья Муромец на камне прочитал: налево пойдешь, направо пойдешь… В эти дни она предсказывала будущее за деньги.

Ходили к ней чужие. Такая заходила во двор, осматривалась, искала подъезд, не решаясь спросить. По ее тревожному лицу можно было угадать, зачем пришла.

— Вам, тетенька, насчет судьбы? В пятый подъезд, там на первом этаже слева квартира.

Даже моя бабушка ходила к ней пару раз ознакомиться насчет будущего в жизни. «Поддержать коммерцию» — было ее любимое выражение (она покупала ненужные гвозди у нищих на базаре, ворованные цветы у мальчишек). Потом докладывала дедушке: «Друг мой, пойдете на базар, под ноги смотрите, на углу палкой в пыли пошебуршите, вас там деньги ждут!» Старалась не смеяться, но все равно прыскала и отворачивалась.

Предсказания Натальи Тимофеевны были насчет денег, пауков, любви и болезней. Соседка сверху ее не любила, свешивалась с балкона и орала, что фининспектора позовет на ее шашни. Но ее стыдили: не тронь убогую.

Мы собирались под ее окнами, изредка потешаясь: Натимофенна, когда деньги найду?

Соседки гоняли нас. Танина мама запрещала дотрагиваться до нее, заразит чем-нибудь.

Очень хотелось побывать у нее дома, но даже ее коммунальная соседка, строгая чертежница, и ее безмолвный муж не заходили к ней в комнату. Говорили, что у нее много странных вещиц, стеклянный шар, карты со змеями. Говорили, что она колдунья, но никто не верил, ее тайны не были грозными и всесильными, так, болтовня, вещицы с барахолки.

Но было странное ожидание связано с ней, что-то должно было произойти, волшебное или просто неописуемое.

Она умерла. В больнице, ничего особенного, рак. Приехал откуда-то сын, погрузил на грузовик ее узлы, круглый стол, пару стульев, матрац, связку потрепанных книжек. Даже не выкинул ничего. Ничего волшебного.

Вот так всегда обманывает детство.

* * *

Раз в месяц по воскресеньям мать приводила его в сквер, сажала на скамейку и ждала в сторонке. Когда на аллее появлялся отец, она, махнув сыну рукой, уходила. Через час снова

появлялась — забрать его домой.

Свидания с отцом утомляли его: и рад, и не рад. Видно, что отец смущен, неловко пытается занять его разговором, сам мучается. Видно, что ему тяжело это необходимое свидание. Эта тяжесть передавалась мальчику, он жевал конфету, елозил ботинками по песку, поглядывал на аллею, в которой должна появиться мать.

— Ну беги, вон мама идет, — торопливо подталкивал его отец, — вот деньги, не потеряй.

Он бежал к ней с облегчением. Тараторил, как интересно было ему, выдумывал истории отцовских приключений. Отдавал деньги, и они шли на рынок.

И отец, и мать избегали говорить о разводе. Да он и не спрашивал, боялся узнать что-нибудь непоправимо страшное.

Мальчик готовился в школу, ему казалось, что он станет совсем другим, взрослым, сильным, будет приходить днем один, греть себе еду. А вечером греть матери ужин.

Так и случилось, ему стало легче. Встречая отца, он начинал рассказывать ему про свою новую жизнь, тот слушал молча, улыбался, одобрял.

А потом отец умер. Внезапно. Сын был уже большой, ему было двенадцать лет, и мать сказала прямо: умер внезапно.

— Почему? Как? Он болел? Он попал под машину?

Мать замялась:

— Ты знаешь, он, как бы это сказать, не хотел жить. Никогда не хотел.

— Самоубился?

— В общем, да, выпил много снотворного.

Когда не спалось, он пытался вспомнить, что отец говорил, — и не мог. Ни слов, ни жестов. Коричневые ботинки — да, это он помнил, отец покачивал ногой, сидя на скамейке.

Что еще? Ему хотелось удержать в памяти хоть что-нибудь.

— Да, да, у меня был отец!

* * *

У нее родился мертвый ребенок. Муж привез ее из роддома к ее родителям, оставил двести рублей на клеенке и ушел.

Через пять лет она снова вышла замуж. У нее был новый паспорт, без печатей брак-развод, никто не знал про прошлое. Родила мальчика, защитила диссертацию, купили квартиру. Она боялась его родителей, выпытывали, почему не девушка в тридцать лет.

Стала потихоньку собирать деньги: сдачу, там рубль, тут трешка. Сначала складывала в мешочек с пуговицами. Потом отнесла в сберкассу.

— Побираешься, что ли? — шутили там. — Сколько мелочи опять нанесла.

Она думала, что надо быть готовой ко всему. Если завтра придется уйти, то будет запас денег, чистое белье в чемодане. Складывала сухари, сахар, чайные пачки. На плохое завтра. Доедала до последней крошки: вдруг завтра уходить, чтобы на сытое. И мальчика кормила насильно.

Завелись мыши, прогрызли чемодан, разнесли крошки по полу. Свекровь пришла убирать, полезла под кровать посмотреть, откуда мусор, и обомлела.

Вечером сидели молча, боялись начать разговор.

Наконец муж решился, ласково начал спрашивать, почему она хлеб собирает. Двадцать лет после войны, уж хлеба-то хватает.

— А как бросишь меня? Уйдем хоть не пустые.

— Почему брошу?

Она рассказала. Договорились посоветоваться с врачом-психиатром, но частным образом, чтоб никто не узнал. От лекарств она все время хотела спать. Но сухари собирать перестала.

Когда мальчику было четырнадцать лет, он утонул.

Она ушла. Вернулась к мужу только за несколько лет до его смерти — ухаживать за ним, когда его парализовало.

* * *

Умма-апа торговала лепешками на площади без малого тридцать лет. Она выглядела сморщенной коричневой старушкой, в платке, штанах-шароварах, даже в жару носила толстую стеганую жилетку поверх бесформенного платья. Даже в холод — калоши на босу ногу. В кошелке у нее лежала облезлая кукла. Она доставала ее, баюкала, укрывала платком.

Она казалась бессмертной мумией. Осторожно улыбалась беззубым ртом, объяснялась на пальцах, редкие русские слова, да и узбекские тоже вылетали из нее случайно и напряженно.

Наша детская докторша Басова всегда останавливалась поболтать с ней. Басова ворковала на смеси русского и узбекского, поглаживая старушку по плечу, а та кивала, мычала что-то, глаза ее слезились, она норовила мягко отвести докторшину руку с деньгами, отдать бесплатно лепешки.

Докторша настойчиво совала ей деньги и не брала сдачу.

Докторша Басова лечила ее и вообще всех детей в узбекской махалле и в нашем «европейском» квартале. Называла ее «кызымка», деточка. Торговка лепешками так никогда и не стала взрослой, она не могла нормально говорить, пугалась радио и машин. Когда ей было лет пятнадцать, родители выдали ее последней женой к пожилому соседу. Она играла с детьми главной жены, убирала, готовила. Продавала лепешки.

Она осталась девственницей — никому не нужна была тихая дурочка.

* * *

— Мы не будем с ней дружить, у нее мать квартиры выменивает, всё выменивает, вон у Бурковых выменяла…

— А как это, «квартиры выменивать»?

— Это плохо, папа говорит, Бурковы выменялись, потому что у них денег нет, а им ее мать дала.

— Так это хорошо, что дала? У них денег нет, она им дала, это хорошо?

— Дааа, а квартиру забрала, они теперь все в одной комнате живут. И вообще у всех денег нету, а у ней есть…

— Только у плохих деньги есть, они их украли, у бабая[9] на рынке отняли, когда он спал.

— И на поезд напали, я в кино видел, награбили денег, а потом пошли выменивать…

— А моя мама часики на деньги выменяла. Жалко, они тикали так, знаешь, тихинько-тихинько…

— Все выменивают, бабушка на рынке стояла, ложки и жилетку выменяла…

— У Валерки из того дома проволочки цветные, пошли менять?

— А на что?

Про милиционеров

Милицынер, или мильцанер, как говорил Яша-маленький, Бертин брат, или милициунэр, как говорила наша взрослая соседка Кремерша, — обязательное впечатление детства.

Итак, про милиционеров.

Первый милицынер моей жизни было страшное нецелое существо — край темно-синего плаща и сапоги.

Мы тогда жили в подвале. Сидя на столе, можно было увидеть ходячие людские ноги, а если немного подтянуться в проем окна — конец улицы с одноэтажными домами и ворота рынка. Когда вечерело, ворота закрывались и наступала тишина, вот тут-то и появлялись ОНИ, эти страшные милицейские плащи-сапоги. Ходили туда-сюда, над окном останавливались. Ну, думаю, сейчас нагнутся, меня вытащат и заберут. И в ужасе отползала от окна.

Как-то во дворе пришлось увидеть его целиком. Это был высокий человек с черными усами, у него не было рогов, изо рта не изрыгалось пламя, он нагнулся и протянул мне руку.

— Ну что, будем дружить?

Бабушка так на меня зашипела, что пришлось дружить. Она сказала, что он *наводит порядок*, без которого у нас бы всё украли, а самих выгнали бы из подвала неизвестно куда или даже убили. То есть он был наш герой и защитник, а не страшилка какая-нибудь.

У него даже были свои дети, которые его не боялись совсем. Давались себя кормить, и мыть, и сказки читать…

Можно сказать, что милицынер, пожарник и пограничник — это наши архангелы Михаилы.

Со временем я узнала, что мой дедушка Минахмед (по-русски Михаил) тоже был некоторым образом милицынер. Он не бегал за

преступниками с пистолетом в скрипучих сапогах, не размахивал полосатой палкой на перекрестке.

Он шел за преступниками тайно, разгадывая их нехорошие мысли и замечая их ошибки. Как умный целенаправленный пес. И *выводил их на чистую воду*.

Мой дедушка был *следователь прокуратуры*.

Я поначалу думала, что «прокуратура» — это такая слепая тетенька с базарными весами, при которой он состоял, как в детстве подпаском при коровах. Но потом выяснилось, что этой тетеньки нет, она выдуманная, как принцессы и волшебницы. Хотя, может быть, она была в жизни когда-то как ленин или Пенелопа.

Еще дедушка этих злоумышленников *привлекал к ответственности,* когда стал прокурором. Вот тут я удостоверилась, что прокуратура — не тетенька. Ведь у дедушки уже была жена — моя бабушка, и сестры были, я их поименно знала. И никаких слепых женщин рядом не было. Ну глупая я была! Не сообразила сразу, не *сопоставила факты*.

Я поняла, что прокуратура — это как филурмония, место, понятное до конца только взрослым. Там были кожаные диваны, решетки в коридоре. Там давали чай в подстаканнике из горячего блестящего сумувара. Мне нравилось туда приходить, там было шумно, бегали с *делами*, там висели карлымарксыэнгельсыленины в каждом углу, и все здоровались, и мазали хлебушек вареньем для меня. А преступников не показывали. Дедушку там любили и уважали, и мне перепадало. А еще эта прокуратура была рядом с местом, где пирожные продавали. В общем, визит в прокуратуру — это большой праздник для такого человека, как я, который опасливо относится к взрослому образу жизни. Куда как спокойнее, чем в филурмониию пойти.

Второй настоящий милицынер моей жизни, в сапогах и фуражке с пистолетом в кожаной кобуре, был лысый человек по фамилии Зияутдинов, дедушкин соработник. Он приходил к нам домой. Дедушка тогда уже на пенсии был и обучал молодых следователей хитроумно идти по следу. Они выходили во двор разговаривать, и дедушка с ним тайно курил. А пока можно было надеть его милицейскую фуражку и бегать по коридору.

Этот Зияутдинов говорил речь, когда дедушку хоронили. Он сказал, что обязан ему правильной жизнью, а то у него… тут он заплакал, и оставалось только гадать, как бы у него без моего дедушки вышло.

Поездки к матери

Когда мне было четыре года — возраст, удобный для взрослого вранья, — сказали, что отец давно умер. Собственно, это было теоретическое знание, как Бог: есть или нет.

Потом я прочла свое свидетельство о рождении: мать — да, есть, конкретная мать, дата рождения, национальность. А вместо отца — прочерк. Напиши, кого хочешь. Я привыкла не обсуждать свои открытия среди сверстников, а взрослые игры были невнятны ни уму, ни сердцу.

Эта конкретная мать жила далеко, не докучала. То есть, если бы она вдруг умерла, я, может, и не заметила бы этого в своей жизни, как в случае Бога или отца.

Бабушка требовала любви к матери, теплых слов, скучания по ней. Можно сказать, научила писать, чтобы можно было изъявлять эту любовь письменно. Ну точно как с Богом, вроде как и незнакомы, а уже любят.

Мать была неведома, издалека приходили письма, посылки раз в год. Изредка ходили на почту, на переговорный пункт — нервное заведение, где все забиваются по душным кабинкам, потеют и кричат в черную трубку. Там можно было развлечься — взять телеграммный бланк и калякать — скрипеть измученным пером, а потом послюнявить и размазать пальцем чернила.

Приказывали: «Москва, пятая кабина», — бабушка нервничала, толкала меня внутрь, в тесное страшное пекло, надо было слушать незнакомый голос, как-то отвечать. Она подсказывала слова, раздражалась. На том конце нежно ворковали, а потом, когда бабушка брала трубку, шел торопливый, непонятный разговор, но тогда можно было уйти назад, к своим слюнявым чернилам. Так что, в общем, ничего страшного.

Правда, раз в год-два меня возили в Москву — матери показать, отчитаться, так сказать, как девочка растет. Не упустили ли чего в провинции, музыку, там, английский язык, танцы.

В поезде было любопытно, бабушка сразу становилась общевагонной бабушкой, к ней приходили тетки, рассказывали житуху, мужики жаловались на жен, искали правды, если попадались дети, то для них всегда находился леденец.

За окном была бескрайняя пустыня, редкие станции, водокачки, верблюды… Потом вдруг лес, лес, опять водокачки, собаки… Граница двух миров обозначалась женщинами: в нашей Азии они повязывали свои яркие платки назад, узлом на затылке,

а в России белые — под подбородком.

Москва ошеломляла каждый раз. И мать ошеломляла красотой, духами, нежным голосом.

Она снимала комнату, куча соседей, коммуналка, незнакомый запах, темный коридор: страшные вещи висели с потолка — санки, веслосипеды, корыта… Можно потерпеть, чтобы потом гулять по бульварам.

Первую неделю еще как-то жили, потом начинались ссоры, слезы, обвинения, участие соседей. К счастью, это был возраст, когда еще не ощущался стыд за других. Можно было переждать, впереди был «Детский мир», набережная широкой реки, мороженое…

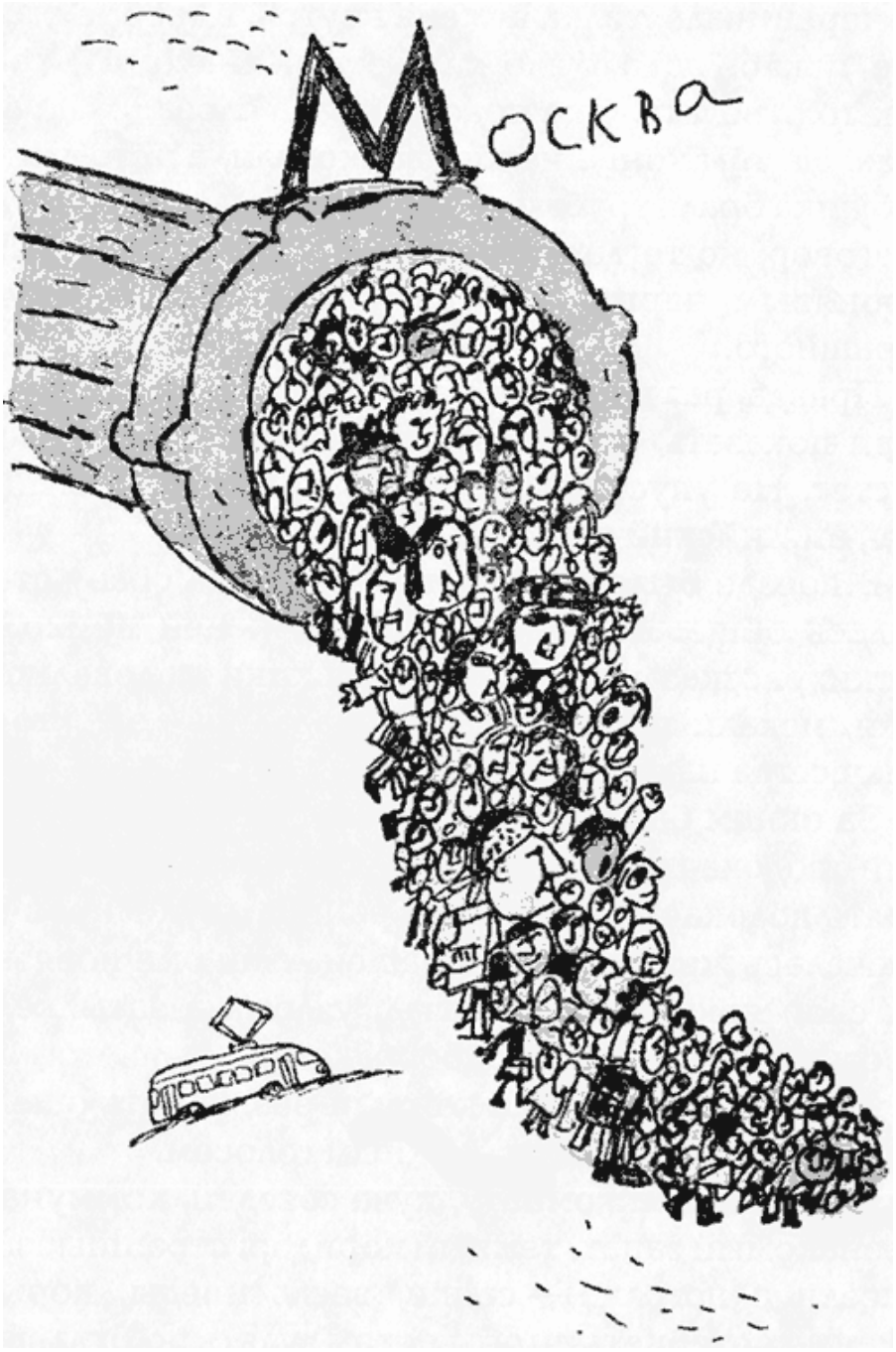
У матери на работе было загадочно и страшно — гулкие коридоры, внимание, конфеты, в виварий на крысок посмотреть, а то и потрогать. В кабинетах — огромные кожаные кресла, книжные шкафы, картины… незыблемый установленный порядок чужой жизни. Перед походом на работу репетировали стихи — вдруг попросят прочитать с выражением.

Ходили звонить дедушке, он оставался на попечении добрых соседей, бабушка волновалась, как он там в жаре.

Наконец ехали домой, чемоданы, сумки какие-то, заказы соседей, жареная курица…

На вокзале встречали дедушка и сосед — Старый Военный Доктор. У него была большая машина — «Победа». Бабушка незаметно крестила дедушку, и меня, и Доктора, и вокзал, и еще кого-то вверху, Бога наверное.

Дома начиналось веселье — приходили соседи, распаковывались подарки, заказы, сновали из комнаты в комнату, толпились у зеркала, можно было тихо сидеть с дедушкой, перед нами крутился правильный мир обрадованных женщин, убаюкивая среди сутолоки дня…



Пару раз мать приезжала в Ташкент для того, чтобы я ее полюбила. Но у меня не получалось любить мать целиком. Например, мне нравилось, что она очень красивая, что у нее длинные лаковые ногти, духами пахнет. Мне нравились ее туфли и пуговицы на пальто, но, когда она разговаривала со мой, было

странно. Как будто это радио пришло. Или тыливизыр у соседей — оттуда красивая тетенька говорит как надо.

Бабушка говорила, что я к ней привыкну и полюблю. Как все. Вечером приходили эти все — ее друзья, и они уходили вечерять куда-то. Видно было, что они ее любили, приносили ей цветы, смеялись. Они ее давно знали, они вместе учились в «вирнаситете», женщины менялись сережками, а мужчины нюхали ее за ушами, там она мазалась духами. Вкусными, не такими, как у бабушки были. Потом она перестала приезжать, и меня возили к ней. Это было сильно хуже, потому что нельзя было взять всех кукол и мишек, а только одного. И одну книжку. Потому что было позорно ехать в поезде со всеми и загораживаться, сидя на горшке.

И там, в другом городе, было много обязательных чужих людей, которые щипали меня за щеки, требовали рассказать стихи, отвечать на вопросы. Их много было передо мной.

Что было хорошего в Москве? Там были большие карусели в парке. Там были темные лестницы в домах и особенный запах. Там была большая гора, с которой виден весь город, и птицы над ней летали. Там были большие дома и поезда под землей. Считалось, что там лучше, и все должны были стремиться туда.

Наверно, там был конец мира.

* * *

В трамваях, которые ходили в Москве по бульварам, были очень злобные и подозрительные кондукторши. Не то что у нас в Ташкенте.

Московские были безжалостны к страдальцам войны и не пускали их ездить бесплатно, а у нас в Ташкенте с этим было более гуманно. Кондукторши опускали глаза и пропускали несчастных, как на картинах передвижников добрые барышни.

Но и у тех, и у других были замечательные коричневые сумки с защелками, которые назывались похабно: поцелуйчики. Очень мне хотелось их как-нибудь потрогать и пощелкать.

Ну я как-то и потрогала в московском трамвае, а кондукторша решила, что я малолетняя воровка. Я с матерью ехала, кондукторша завопила на мать, что сама в шляпе, а свою соплячку чужие сумки открывать научает.

Моя мать ей говорит: «Гражданочка, я кандидат биологических наук и работаю в университете, разве я похожа на воровскую мать?»

А та орет: «Все вы в шляпах, а сами воровки, щас милицанера

позову». Но тут пассажиры вступились за мою нечастую мать: «Гражданочка, вы же видите, что женщина интеллигентная, не воровка, девочка просто так пощупала».

— У меня дочь эмоционально неустойчивая, она неадекватно себя ведет, — поведала мать всему трамваю. Это возымело действие, кондукторша заткнулась, а все стали мать жалеть и советовать. Один военный говорил, что если бы это мальчик был такой, то его надо в Суворовское училище отдать для устойчивости. А девочку — да, ее деть некуда, терпеть придется, пока замуж не скинешь. Про монастырь тогда боялись вслух говорить.

Этот случай еще раз убедил меня в неизбежности со всех сторон.

* * *

Моя мать снимала в Москве угол — кусок комнаты, отгороженный ширмой, где были нарисованы японские хитрые тетки в халатах и с веерами. У меня даже фотография была — где она там сидит на диване с друзьями и журналом. Красивая очень.

А потом она сняла комнату у генеральши на бульваре, и меня повезли приручаться. Генеральша была старая желтоватая худая тетенька, которая все время курила и командовала соседями на кухне. Раньше вся эта квартира была ее, а потом была война кто-больше-родину-любит, ее генерал не победил, его убили, а к ней населили кучу победного народа.

Но она все равно считала, что квартира ее, и командовала: а ну уберите свои грязные кастрюли! Что вы тут носки развесили, это же кухня! Так я училась правилам хорошего тона. Мне тоже доставалось: и чулки подтянуть, и в носу не ковырять. Ну прям точно как моя бабушка.

Они с моей бабушкой вообще дружили, вспоминали нетакую жизнь и горевали. Потом генеральша доносила на мою мать, кто к ней ходит, и вообще. Бабушка начинала беспокоиться, вечером скандалили с матерью, а я сидела на диване у генеральши, лопала вафли, играла баламбошками от подушек и смотрела старые журналы или фотографии. Там у нее все мужские портреты были с усами и бородами. Совсем как бабушкины родственники. И дамы были в шляпах в помещениях, тоже совсем как у нас. И тогда мне казалось, что все эти старинные люди — наши родственники, про которых надо помнить, но нельзя говорить чужим.

Бабушке было неудобно, что генеральша покупает мне

пирожные за свои копейки.

Мать ругалась с генеральшей, называя ее доносчицей, а та вопила, что выкинула бы ее, мать-кукушку, только ради моей бабушки и меня ее держит, потому как сочувствует благородным, попавшим в мясорубку.

Вот я ночью думала, как это: люди в мясорубке. Метро мне казалось мясорубными дырочками, из которых все выжимались толпой.

Иногда бабушка и генеральша говорили на иностранном языке, чтобы мне не понять. Это означало, что они совсем страшное говорят.

Жизнь там была такая сложная, что совсем непостижимая уму. Игры в песочнице казались неинтересными, и очень хотелось домой в Ташкент.

* * *

Как-то бабушка привезла меня в Москву очередной раз для взаимоприручения с матерью, пришли мы к театральной концертмейстерше (у нас вообще друзья все культурные были), у нее был рояль, а рядом — стул на кабаньих натуральных ножках: мех, копытца… Я легла на пол, обнямши их, рыдала с полчасика. Кабанчика жалко было.

Потом меня оторвали и повели с ней и ее племянницей на «Синюю птицу» в очень Художественный театр. А там свет выключили, и они пошли с огоньками вереницей за синей птицей. Ну, думаю, щас ее в темноте, как кабанчика, на стулья с перьями пустят или просто съедят. Завизжала и поползла оттуда под сиденьями, застряла по неуклюжести.

Зрители, которые в темноте не понимали, что у них под ногами происходит, может, крыса какая мечется, стали пугаться и возмущенно роптать. Что, мол, такое в театрах происходит в столице? Куда милиция смотрит, если невоспитанных сумасшедших пускают?

Меня отловили. Я стою в коридоре лицом к стене и отказываюсь покидать театр, пока не убедюсь, что птицу не съели. Несчастные сопровождающие пытаются донести до меня смысл пьесы: что птицы как таковой вообще нет, это мечта. Ага, еще не съели, перья не разодрали, а ее уже нет! Племянница — в слезы, зачем вообще эту дуру привели, раз она искусства не понимает. Я упорствую, решили меня с билетершей оставить, ей даже три рубля сунули меня пасти до конца, а племянницу увели назад наслаждаться. Ну я стою, с билетершей разговариваю. И

показалось ей, что я вообще сирота, поэтому она повела меня в буфет, мне дали бесплатно бутерброд, конфету и налили лимонаду. Сразу стало меньше жалко птицу, а про кабанчика я уже совсем забыла.

А потом кончился спектакль. Меня передали матери, и племянница ей нажаловалась с ходу, что я сумасшедшая. Меня дернули оттуда, а потом еще наподдавали по дороге. А потом мать нажаловалась бабушке, потом они стали скандалить, как обычно, и рыдать, и уходить туда-сюда, а меня взяла коммунальная соседка к себе чай пить и даже у ней на диване ночевать. Так вот мне два раза в день повезло — наелась за счет кабаньего несчастья и непонимания искусства.

* * *

А в другой приезд у соседей — коммуналка на 16 коммунистов, бывшая генеральская квартира на Гоголевском бульваре — чучело какое-то было. Так однажды они его вынесли на коммунальную кухню расчесывать, моль выбивать из него, уже мертвого, стукали его щеткой! А я опять гостила там и случилась на кухне в этот недобрый час. А Вазгена Арутюновича, психиатра и друга, под рукой не было… Ну меня опять сразу повели угощать, но наораться я успела.

Понятно, почему меня мать ненавидела.

* * *

Так вот, когда меня возили к матери, то тащили к ней на работу.

Ну там, стихи почитать из Барто или посчитать до десяти публично — все радовались, как в первый раз в цирке.

На работе у ней было страшно: там мучили животных. Оголяли им мозги и вставляли в них проволочки. Но мне не давали на это смотреть, знали уже, что я забьюсь в истерике с пеной у рта. Я в кабинете с кожаными креслами сидела, возле книжного шкафа, но я же знала, я в щелку двери видела, что там пытают крыску какую-нибудь.

Поэтому я ненавидела весь Московский университет, и даже профессорская столовая с морковным супом не радовала.

Но меня все равно приводили — тут сказывалась необходимость материнской любви как общественного действия.

Вообще, в Москве было много людей, слишком много, мне

казалось, что им неудобно там жить. У них было дождливое лето и не было уличных ручьев.

«Цепляться за Москву в ущерб дочери» — любимое бабушкино выражение было.

Оказалось, что не в ущерб, а во благо.

Не получилось потом любви. Ужас, что потом получилось.

Ташкент вообще

Раньше всего на всех не хватало, а теперь всех на всё не хватает. Иду мимо разного, особенно под праздник, и страшно делается: куда же все это деть? Нас не хватит все это купить и на себя надеть, или дома сложить, или даже скушать. Китайцев — миллиард-другой, к ним отправить. Да ведь это же они сами и сделали, и к нам отправили, и у самих навалом. И делается мне страшно, как от бесконечности сидения в аду.

Раньше символом бессмысленного изобилия был магазин «Ткани» на нашей улице в Ташкенте. Там нередко покупался ситчик за 53 копейки, ну раз в год кто купит шелк с золотцем, а ведь серые штаново-пиджачные материалы, сложенные до самого потолка, или ткани на пальто — ну кто столько купит? По-моему, их не покупали никогда. Пальто перелицовывалось — а это уже как минимум двадцать лет носить его, а потом из него детям сошьют, и дедкам на телогреечку и стельки останется.

Ведь только еда быстро исчезает. А ее как раз изначально не было. У нас в доме жила тетенька бухгалтерша, она любила порядок, учет и перечисление. Идет с работы и начинает во дворе: была в гастрономе на Пушкинской: и колбаски нет, и сырку нет… потом была в продовольственном у института — и колбаски нет, и сырку нет. И так все магазины для еды, штук пять. Пока все не перечислит, с места не сойдет. Мы над ней смеялись, если бы она ткани ела: и ситчик есть, и шелк такой-сякой есть… и дерматин, и креп-жоржет…

Как бы она сейчас с едой-то умаялась перечислять — вон в Ташкенте везде еда есть.

Деньги — не везде, а еды навалом, говорят. Но денег всегда — не везде.

* * *

Ташкент. Жаркий августовский день умирает скучным вечером. Обыватели поливают двор, готовят ужин, в воздухе пахнет мокрой прибитой пылью, жареным луком, сухими листьями.

На балконе сидят две невостребованные любовью и счастьем прыщавые девицы и старушка.

Крутится пластинка…

«Tombe la neige

Tu ne viendras pas ce soir…»

Девицы голосят фальшиво: «Томбеее лянеееееже…»

Только старушка поет красиво, на настоящем французском языке, легко и тоже напрасно…

* * *

Дрожжи всегда были ворованными с хлебозавода. Обычно продавали их русские тетки. Стояли как бы просто так, к ним подходили и тихо спрашивали. Быстро совали деньги, тетка доставала из лифчика или из кармана крошечный сероватый кусочек, завернутый в пергаментную бумажку. Она сразу отворачивалась и отходила на несколько шагов.

Это напоминает мне китайский квартал в Нью-Йорке. Пробираешься через толпу, натыкаешься на неподвижных, они быстро шепчут: «Луи Вюттон» или «Прада», какое-нибудь дорогущего дизайнера имя. Фальшивые сумки.

Если кто-то готов, обычно небогатый и неискушенный провинциальный турист, его заводят в магазинчик, затирают там в какую-нибудь щель, уже испуганный покупатель даже не торгуется, выходит с плотно завернутым сокровищем и быстро покидает место искушения, за углом разворачивает, с облегчением видя, что его не сильно надули.

С дрожжами сложнее, тоже надо было отойти в сторонку, не теряя из виду продавщицу, развернуть, помять и понюхать дрожжи. Если они не вызывали доверия, их можно было вернуть, обменять или получить назад деньги. Как в Америке.

Но осадок унизительной взаимной ненависти не уходил еще несколько минут. Избавиться от него можно было, покупая арбуз.

Жара, на горе арбузов полулежит продавец, в ватном халате, тюбетейке, подвязанной платком, с веточкой райхона (мяты) за ухом, пьет чай, жует табак. Время от времени пронзительно кричит, зазывая покупателей.

Бабушка всегда спрашивала: «С походом будет?» «С походом» означало, что продавец только килограммы учтет и за них возьмет деньги, все граммы больше — получи бесплатно. Она говорила по-узбекски, видя такое уважение от «лица русской национальности», продавец был особенно щедр.

Она сама никогда не выбирала. Продавец вставал, окидывал взглядом кучу, выбирал жертву, сначала на глаз, а потом на стук.

Из голенища мягких кожаных сапог доставался нож,

длинный, узкий, неторопливо вытирался грязным платком, четырьмя легкими точными ударами вырезался квадратик арбуза, накалывался на нож, и на свет появлялся новорожденный кусочек мякоти. Он манил, сиял, казался прохладным. После арбуз небрежно взвешивали, почти не торгуясь, звенели копейками и несли домой.

Зимний рынок был совсем другой. Вяленая дыня, сушеные яблоки, изюм, сокровища чужестранцев — мандарины.

Другой запах, дым саксаула.

Продавец, опять в халате, но уже в меховой шапке. Торгуется сурово, взвешивает точно, не кричит, не зазывает, знает себе цену, размягчению души не подлежит.

Зимой все было сильно дороже.

Сейчас, наверно, круглый год дороже. Считается, что жить стало лучше. И веселей, наверно.

Среди неисчислимостей мира, как-то: звезды, нерешительность рассвета, изюмки и вообще всякие косточки, буквы в толстых книжках, вода в фонтане, красный песок на бульваре со статуей Куйбышева в пальто и прочая, были незнакомые улицы, куда нельзя было заходить.

Такие ближайшие улицы были у нас в махалле — узбекском квартале маленьких домов за дувалами — глинобитными стенами с незаметными синими калиточками. За ними слышалось разное вечное: визги детей, разговоры женщин, шипение сковородок, журчание воды.

Меня никогда не отпускали далеко, и рассказы других детей про «пойдем в махаллю урюк таскать» были как в Прыжывальского играть или в Одиссея. Мне казались бесконечными чужие улицы, где арыки к вечеру волшебно наполнялись водой, где птицы бесились в густой листве, и золотая пыль стояла в воздухе.

Манил долгий путь: перейти горы, за ними — Кашгар, Яркенд, Джунгария — таинственные места из рассказов о подвигах местных пионеров или Марко Поло. Печальное подозрение о неизменности ежедневной жизни еще не тяготило, казалось, что где-то кончается эта монотонность и начинается если не яркий праздник, то стремительность, *«на полном скаку»,* верный взмах рукой, привлекательная бездна, еще чуть-чуть и вот-вот.

Шли с бабушкой в махаллю за мукой с двумя полотняными мешками. Мои сандалии, отрезанные спереди для упрямых пальцев, вздымали пыль копытами неистового коня. Солнце заходило за холмом, на крепостной стене зоркие лучники смотрели на дорогу, пересвистывались, завидя всадника, натягивали тетиву на всякий случай.

Возле магазинчика стояла небольшая очередь, бабушка разговорилась по-татарски с какой-то знакомой. В арык пускали воду, стремительные потоки несли скопившийся за день мусор, дохлых мышей, на дне поблескивал шлем Тамерлана и крышечки от бутылок. Вода сметала селение на своем пути, сильных коней уносило, крыши срывались с домов, путник стоял на холме, и видел все, и не мог помочь.

Старушки кудахчут обычную скучную глупость: как твоя кызымка подросла, как мой Равшанчик подрос, в школу идет…

Черные вишни на дереве. Не ешь, путник, заснешь мутным сном, ослабеешь, ограбят тебя и убьют, шайтан заберет твою душу и превратит в зло, а тело растерзают шакалы.

Наконец бабушка выходит с мукой, она медлит, оглядывается

по сторонам. Немолодой узбек с арбой стоит за углом, женщины грузят свои мешки, он тащится по улице. На арбе — расшитый золотом паланкин, в нем — плененная принцесса, всадники по сторонам, любопытная толпа.

Не открывайте ей лицо, не смейте, она поразит вас своей красотой, у каждого, кто увидел ее, поселится в сердце вечная любовь, как нечестивая болезнь. Помутится разум, мир превратится в светящийся шар, он покатится впереди, поманит, но не ухватить его слабыми руками.

На краю махалли остались только наши мешки. Бабушка дает узбеку деньги. Опускает мешки на скамью и ждет дедушку.

— Напечем пирожков. Хорошая мука, сухая, рассыпчатая.

Усталый путник снимает шлем, кладет на ковер саблю.

Он тоже ждет пирожков. Сегодня будут с изюмом и рисом.

* * *

Ну вы знаете, кто такой Чкалов.

Это все знают, даже девочки, которые, кроме как кукол наряжать, ничего не любят. Он был счастливый человек: делал что ему нравилось — летал и видел мир сверху без всякого, что мешает.

Он был благородный человек. Перелетев в Америку, он пожимал руки неграм. А тогда в Америке это не было принято. Когда он летел через льды на полюсе, у него текла кровь из носа и ушей, а в остальном все было хорошо, и его встречали цветами и криками «ура».

Он был сталинский сокол. Я с детства не любила ничего сталинского, но тоже восхищалась соколом. Все портил мой интерес к взрослой многомысленности: если написать только первые буквы от этих гордых слов — СС, получалось как у отборных фашистов. Куда только не заведет мысль, с ней трудно справиться совестью, или, там, жалостью, или стыдом. Главное, об этом никому не рассказывать.

Но это я отвлеклась. У нас на стадионе поставили памятник Чкалову — в унтах, ватных штанах, со шлемом. Все каменное.

В те времена уже не сильно боялись статуй, и нашлись такие несознательные элементы, которые проковыряли ему дырочку в похабном центре штанов. Ну сами понимаете, где. И стали вставлять туда то окурок, то палку, то ветку сирени весной. Один раз даже молоток всунули, но его быстро украли.

Иногда было совсем скучно, и мы говорили: айда на стадион, посмотрим, что сегодня у Чкалова в штанах.

Один раз кто-то прибежал во двор с криком, что у Чкалова скорая помощь и раненые.

Оказалось, что узбекская семья из кишлака решила под ним фотографироваться. Среди семьи были старики, женщины и дети. То есть те, которым нельзя смотреть на похабное. А у Чкалова из штанов торчал тюльпан. Благородные мужчины узбекской семьи залезли один на другого, чтобы тюльпан из штанов изъять, но верхний не удержался и стукнулся лбом об чкаловские каменные унты. А потом вовсе свалился на асфальт головой. Ни о каком фотографировании уже и речи быть не могло. Все стали кричать и звать на помощь. Приехала скорая и перебинтовала ему голову.

Но это мне рассказывали. Когда мы прибежали, Чкалов уже стоял один, с тюльпаном в штанах.

Тюльпан увядал, потому что у нас жарко.

Деяния

У Зигатуллиной были коричневые банты и белые тоже, для торжественных линеек в школе, но красных не было, а ей хотелось. Зигатуллина, неловкая скромница, жила в сараях в конце соседней улицы. Она была бедная, и лишние банты ей не светили.

Как-то раз зимой, когда мы были атакованы снежками в дворовом сортире при школе и деваться было некуда, пока учителя не придут за нами, она поведала нам это свое заветное желание — красные банты, а потом хоть умереть.

У нас в подъезде жила семья Кремеров — старики уже, у них дома царил смертельный порядок. Нас они любили и часто приглашали, потому что мы были культурные, как они.

У них в спальне было две кровати, блестящие, с шишечками, с кружевным всяким над и под. Но главное, их кровати были связаны большими атласными красными бантами. Какая глупость — связывать кровати, они что, поссорятся, разбегутся, как мойдодыры? В общем, не нужны кроватям эти банты, а Зигатуллиной нужны.

В тот день я была особенно любезна. Прочитав вслух Пушкина, я попросилась в туалет, а потом проползла по коридору в спальню за бантами. Старый Кремер храпел на кровати в пижаме и носках и ничего не заметил. Отвязав банты и засунув их в трусы, я проползла назад.

Поднимаясь за мной по лестнице в нашу квартиру, бабушка заметила у меня красный шелковый хвост, торчащий из-под платья.

Как же меня драли! Даже дедушка, который уж точно считал кражу преступлением, вступился.

Долго репетировали покаянную речь. Она мне удалась, Кремерша растрогалась, отвязала второй бант от кроватей и отдала мне оба. Бабушка ее не одобрила, но ничего не поделаешь, банты мои!

Зигатуллина сияла, но недолго, ее мать решила, что она украла их, и ее тоже поколотили.

Взрослые, скажите мне, вы сами-то не верите в бескорыстное добро? А чему нас учите тогда?

* * *

«Есть в желудях что-то такое, что не позволяет их есть

каждый день». Но в детстве так не казалось.

Да, кушали, жарили в костре и кушали, но по чуть-чуть. Грызли. И ничего, не умерли. Собирали неистово, с риском для жизни на трамвайных путях.

Игрушечно продавали в игрушечных магазинах, игрушечно лечили, приклеивали шляпку, обертывали-одевали. Кидались-пулялись.

Но однажды решили сделать доброе дело и накормить Свинью, про которую я прочла в книжке: там свинья под дубом алкала желудей.

Берта, Лилька и я набрали желудей и пошли искать Свинью.

Берта правильно решила, что надо пойти на улицу с маленькими частными домами. Держать Свинью в квартире никакой домком не позволит. Лилька думала, предлагать ли желуди бесплатно или продавать.

Я не думала ничего практического, а представляла, как Свинья будет радостно урчать, и опасалась, не перекинется ли урчание на нас, не укусит ли Свинья, что скажет бабушка, успеем ли мы до темноты вернуться и прочие печальные обрывки мыслей, как обычно, неуместно роились в моей голове.

Встретили тетку с ребенком, спросили, не знают ли они тут кого-нибудь со Свиньей или, может, у них самих есть Свинья, а то у нас есть корзинка с желудями, как раз для одной небольшой свиньи на обед.

Тетка старалась отвечать серьезно. Нет, свиньи у нее нет. И у соседей тоже нет, соседи — узбеки, они свиней не держат. Есть корейская семья, может, у них есть, но это далеко, и девочкам не стоит одним туда идти. Берта была настроена решительно, и мы двинулись дальше.

За баней на лавочке сидели люди.

— Скажите, пожалуйста, уважаемые граждане, а где тут корейский дом? — осведомилась я.

— А вам зачем, девочки?

— Мы идем к ним кормить Свинью.

— А, Свинью, тогда вот там, — засмеялись уважаемые граждане, — только осторожно, собака у них.

Постучались в калитку. Оттуда страшно залаяли, мы отошли на насколько шагов.

Вышел старик.

— Здравствуйте, уважаемый ака,[10] нам сказали, что у вас есть Свинья, а у нас есть корзинка желудей, мы хотели бы предложить их вашей Свинье, — старательно прокричала я — подойти ближе боялись из-за собаки.

Старик подозвал женщину, она вышла к нам. Сказала, что

свинью уже зарезали, но желуди возьмет для будущей.

— Подождите.

Вернулась с корзинкой — персики, леденцы, три слоеных пирожка.

— Спасибо, уважаемая апа.[11]

Домой шли печально. Лилька ревела за Свинью. Берта ругалась на корейцев. Я примеряла на себя судьбу Свиньи, и душа моя разрывалась очередным взрослым несчастьем.

С тех пор мы перестали есть желуди и про свиней тоже старались не говорить всуе.

* * *

Временами Берте, Лильке и мне жизнь подкидывала случаи для размышлений и даже действий, а иногда замирала в знойной скуке. Кроме сухого ветра, пыли столбом, жары, ожидания вечера, ничего не происходило целый день. Да и вечером ничего не происходило.

Это бесконечное лето прерывалось путешествиями. Лильку возили на море отдыхать, меня в Москву — на мать смотреть, Берту не возили никуда, кроме как иногда на озеро.

Расставались ненадолго, завидовали Лильке, жалели меня.

— А ты откажись, закройся в туалете и не ездь! — советовала Берта, а Лилька предлагала визжать до ужаса. Но визжать мне не помогало, а закрыться в туалете навсегда не удавалось — выйдешь кусок еды схватить — и все, уже на вокзал ведут.

Лилька привозила красивые гладкие камешки, ракушки, давала подержать и потрогать. Я привозила цветные карандаши, туфли на вырост, книжки и кукол. Им начинали безжалостно расчесывать волосы, выдирать ресницы, одевать-раздевать, рисовать сиськи и похабничать.

Один раз из Москвы привезли банку слипшейся черной ваксы. Нет, это была не она, как показалось сначала, а еда. Это была икра, которую надо было мне скормить, потому что питательно. Даже не угощали никого. Но меня сразу стошнило, и на мне больше не практиковались. Вздыхая, старики доели сами.

Берта не могла похвастать ничем таким особенным. Все, что у ней было, Лилька и я сами могли на улицах найти.

Но с Бертой во время нашего отсутствия происходили удивительные вещи. Например, в нашем дворе приземлился на вертолете красивый военный и взял ее покатать. И обещал научить быть вертолетчицей, когда она вырастет. Только ее, и больше никого. Или она нашла на улице перстень, объявила в

газете, оказалось, что он упал с пальца жены главного секретаря, когда та выходила из черной машины попить газировки. Эта жена обещала взять Берту в университет и подарила ей большой торт.

В общем, жизнь только и ждала, когда Лилька и я смоемся, и тут же на месте подкидывала Берте прелести жизни, которые пригодятся в будущем.

Лильке жизнь у моря выдавала страшную волну, из которой ее выносил иностранный принц или, на худой конец, папа. Или ослика, на котором можно было кататься полчаса за 50 копеек.

Мне в Москве жизнь подкидывала загадки взрослых слов, метро и туннельную темноту. Один раз фокусника на бульваре — но меня быстро увели, потому что он был подозрительный мужчина.

И еще чужие темные-бесконечные коридоры и острую тоску, что нельзя в них разогнаться и улететь навсегда. Но иногда прилетать назад и подсматривать, вдруг что-нить интересное случится…

* * *

Если бы Берта, Лилька и я нашли кошелек с деньгами, с адресом владельца и с фотографиями семьи с собакой или, там, котом, мы бы честно его вернули. Пошли бы по указанному в удостоверении адресу, не вытащив ни копеечки, отдали бы. Нас бы похвалили, и пригласили чай пить, и конфет дали бы.

Потому что это у конкретного человека потерялось. Конкретного человека жалеешь — сразу видно, как бы сам расстроился, если бы потерял. А если на остановке просто кошелек, с мятыми рублями и мелочью? И заколкой, что означает, что это женский кошелек?

— Совсем необязательно женский, может, это воровской кошелек, а заколка — чтобы замки открывать. Я такое в кино видела.

— А у вора было бы больше денег, и кошелек был бы хороший, а этот рваный.

— Может, это начинающий вор. Или неудачный.

Пока мы рассуждали, прибежала запыхавшаяся тетка. Мы на всякий случай бросили кошелек на землю, но сдвинулись тесней вокруг него — а может, она и есть та самая воровка. Бандитка с заколкой.

Тетка безнадежно рыскала вокруг. У нее было такое испуганное потное лицо, что она стала как бы тот конкретный человек, которого жалко.

Берта, Лилька и я благородно закричали:

— Тетенька, вы кошелек ищете? Вот, мы его нашли.

Она схватила кошелек и побежала обратно.

— Ну вот, никакой благодарности.

— Может, это вовсе не ее кошелек, не надо было ей говорить.

Берта стала жалеть, что не взяли, — раз такая противная тетка, поделом ей деньги терять.

Лилька стала травить душу: и мороженца купили бы, и леденцов, и шоколадку, и еще осталось бы…

Я представила, как сейчас набегут толпы потных теток в поисках кошелька и безжалостно нас всех затопчут. Но, что себе не взяли, тоже было сильно жалко.

* * *

Лилька, Берта и я решили копить деньги.

— На что копить будем?

— Сначала накопим, а потом решим, на что!

— А тогда как мы узнаем, что уже накопили? Ну вот если помаду купить в галантерее, то за неделю можно накопить, а если на самолет, то никогда!

— Зачем тебе на самолет, еще скажи на ракету!

— Дуры вы, на ракету бесплатно пускают, если ты готов, — вмешался Борька.

— Как бесплатно? А на билет? Это же надо в Москву ехать, чтоб тебя потом бесплатно взяли?

— Так не надо в Москву. Ты здесь соверши подвиг какой-нибудь, тебя заметят, ну и возьмут. Всегда в Москву берут замеченных в чем-нибудь ну таком… — Он мечтательно запнулся.

— Ну каком таком? Каком таком, ну скажи?

— Ну в подвиге!

— А ведь подвиг — это когда жизнь отдал уже, как Александр Матросов или летчик Гастелли?

— Дура ты, Лариска, это ж на войне, а в мирной жизни необязательно умирать. И вообще, Гастелло, а не Гастелли.

— А просто учиться на пятерки нельзя? Даже чтоб по физкультуре? — задумалась Берта.

— Тебя точно не возьмут, ты жирная! И Лариску не возьмут, она длинная и спотыкается. И Лильку не возьмут, потому что она визжит. Туда только мужчин берут.

— Конечно, тебя, Боречка, ждут, и Витька, братца твоего сопливого!

— А пошел ты ваще, не надо нам твоей ракеты. Мы на

мороженцо накопим, а тебе фиг дадим. Вот у нас уже тридцать копеек есть.

— А у меня пятнадцать, — заискивающе смирился Борька, — айда в ларек!

* * *

Берта, Лилька и я сидели на остановке и завистливо обсуждали наряды женского населения.

Выходящие с пятого троллейбуса были одеты лучше, чем с четвертого, а двадцатьпервоавтобусные — еще лучше.

Потому что четвертый шел в старый город — одни узбечки в калошах, фу. Пятый шел на вокзал через культурные места — костюмчики с брошками, а двадцать первый — через мединститут, докторши одевались ой-ой-ой как. Им ведь целый день в халате, так хоть потом покрасоваться.

Я за это любила Лилькину маму, детородного доктора тетю Римму, — она одевалась ярко. Это чтоб, если кровью обрызгаешься через халат, не видно было. Моя бабушка ей советовала платье снимать, а халат надевать на комбинацию, не ехать же в автобусе в кровавых пятнах, что люди подумают. И негигиенично — это у моей бабушки было главное (из-за этого шелковые трусы с жесткими кружевами осуждались — негигиенично).

Лилькина мама клялась-божилась, что в следующий раз так и поступит, но забывала.

Ее яркие платья были и в пятнах, и прожженные папиросками, и вообще нестираные и мятые, но все равно она была дамочка хоть куда, нарядная и с красной помадой. На нее все заглядывались.

Валя Мухамедовна — оперная дирижерша — тоже одевалась занятно. На ней были габардиновые пиджаки с шелковыми букетами на груди. Она была помешана на цветах после лагерей — у нее везде букеты стояли. А после оперы так вообще — ведрами цветы приносили.

Евдокия Дмитриевна, училка, носила пиджак своего мужа сто лет. Моя бабушка тоже сподобилась себе жакет смастрячить из дедушкиного бывшего кителя и мне из него же сарафанчик.

Вот детский доктор Басова одевалась скверно, иногда в белом халате со слушалкой на шее по улицам ходила. У нее был шрам на руке — от номера в иностранном лагере, поэтому она всегда с рукавами была, даже в жару. У нее и подол оторванный бывал, и дырки на чулках. И платья ужасные, как из помойки.

— Из помойки?

— Где это такие помойки, чтоб порыться и платья найти?

— Надо порыскать за Саларом.

Мы отправились на Салар — вонючую быструю речку, полную крыс, заразы и опасностей. Почему мы решили, что там обитают помойные платья? Где? Но Берта уверенно вела всех к старому летнему кинотеатру, общежитию, и, наконец, мы нашли большую помойку. Среди арбузных корок и ящиков валялся кусок черной пластмассы — мы взяли его для Яши-маленького, ему мой дедушка щит выпилит. Дальше обнаружились какие-то тряпки, но даже изначально они не были платьями, ими, наверно, вытирали что-нить ужасно масляное на экскаваторном заводе. Потом мы нашли рваные носки, железки, кусочек свинца и проволочки.

Цветные проволочки! Ага! Это ценно.

— Мы обменяем их на браслеты и шарфы!

— У кого? Кто, имеющий шарф, обменяет его на проволочки?

— Танька, она дурочка, обменяет.

— Но у Таньки и шарфов-то нет.

— А мама ее на что? У ней, как ихний папа убрался, каждый день то шарфики, то бусики.

Танька обменяла нам проволочки на материн капроновый черный чулок со швом, его было приятно гладить, щупать и любоваться его прозрачностью на просвет.

А если умело обмотать вокруг шеи или даже головы, так вообще романтично. Как на картинах знаменитого художника Гойи. Так что мы правильно стремились.

* * *

Как-то после уроков Лилька встретила меня в подъезде:

— Пошли к Берте, она дома валяется, и у нее пи*дец, а не жизнь, — цитировала свою маму Лилька, — теперь она может забеременеть!

— Как это? Зачем? — зашипела я, шебурша в голове бесполезные уже цитатки из Гегеля. У меня вообще увядание Гегеля началось от невозможности применить его в строящем коммунизм окружении.

А замена вспомогательных истин пока еще не поступила.

— Не зачем, а может, ну если того, ну трахнется и случайно залетит.

Как залетит? «Трахнется» у меня бывало неоднократно, я была длинная, неуклюжая, падала, натыкалась на мебель и столбы, вечно в синяках. Это понятно. А как Берта залетит, она же

толстая, не взлетит даже.

— Ты, как всегда, дура из-за своей бабушки! — Лилька подбоченилась и начала опять про пи*дец: — У Берты менструация, — выговорила она старательно.

Я от ужаса чуть не свалилась с лестницы, во рту пересохло, в голове застучало. Вот она, взрослая жизнь, подбирается неминуемыми ужасами.

— Ты хоть знаешь, что это такое?

— Знаю, знаю.

Да, я знала, мне бабушка объяснила и даже приготовила в полотняном мешочке ватку и старые простынные тряпочки. И положила в комод в запертый ящик, где у дедушки пистолет хранился, чтоб я не разорвала на кукол раньше времени.

Пришли к Берте, она валялась в гордом недоумении. Сказала, что бабушка ее одобрила, а мама еще не знает.

Я предложила тряпочки, но Берта отвергла, они вату из матраса вытащили, им хватит. Но если нет, тогда, конечно, к моей бабушке придут.

— Ну и как ты теперь будешь жить? — спросила я от нечего спросить.

Лилька опять всполошилась: нет, ну вы послушайте эту дуру!

— Я теперь на физкультуру ходить не буду, когда у меня это!

— Так ведь все узнают?

— Что узнают? Все и так знают, кроме тебя.

— Лилька, а у тебя есть?

— Нет, но скоро уже будет, уже живот болит часто, — надменничала Лилька.

А меня даже и не спрашивали. Когда еще у нее будет, дуры отсталой…

* * *

Волею всемогущего Провидения на глаза Лильке, Берте и мне попалась монетка в 20 копеек. Она дожидалась счастливиц в пыли возле остановки.

Августовская жара и скука не допускали долгих размышлений: мороженое! Мы бежали к киоску, подбадривая друг друга: если там не будет, то на площадь пойдем, там бывает. Провидение милостиво выдало нам мягкий брикетик крем-брюле за 15 и 5 копеек сдачи.

Начали быстро отлизывать, и уже долизали больше, чем до середины, как подлая мокрая завертка дала течь, и оставшийся кусок плюхнулся на асфальт, лениво расползаясь.

Доесть до конца такое мороженое в августе было трудно, лучше в таких случаях в стаканчике брать, но там не было…

Лилька подбоченилась, вытаращила глаза, совсем как ее мама, детородный доктор тетя Римма, и гаркнула любимую мамину фразу: это же пи*дец какой-то, а не жизнь! (С той лишь разницей, что тетя Римма это тихо говорила.)

Мне не терпелось применить своего любимого писателя Гегеля. Потоптавшись, я заявила, что это произошло, дабы *мировой абсолют* не нарушать. Несчастный потерял, ну и нам не досталось.

— Так это значит: два несчастья, — заключила Берта, — где же не нарушенный мировой абсолют?

Я потопталась еще и рассудила так, что было два счастья: у кого-то денежка была, и мы ее нашли, и два несчастья: кто-то потерял, а от нас мороженое улизнуло.

— Нет, — решительно сказала Берта, — это потому, что мы евреи, у нас Бог строгий и не позволяет задарма лопать вкусное.

5 копеек сдачи решили отдать Яше-маленькому, он деньги копил. Заодно и теории проверим.

* * *

— Мала еще, на мужиков пялиться, — отчитывала Таньку тетя. Она застала нас за обсуждением обтягивающих и необтягивающих штанов мужских граждан, сходящих с троллейбуса напротив нашего дома. Прогнала с остановки и грозилась выпороть.

Ну, мы вернулись во двор, продолжая рассуждения.

Было известно, что мужские люди прячут в штанах много сложного и неприличного.

Ну то, чем Яше-маленькому еще не стыдно пописать за углом, а взрослым это уже ну полный позор почти на всю жизнь.

— А чо удивляться-то, — невозмутимо рассуждала Берта. — Взрослые обрастают волосами везде. Ну вот и у них все волосатое. Они этого стесняются.

— Так что всё? Как у Яши, но волосатое? — Я любила точность определений. — А где именно? А писать не мешает? Волосатое ведь?

Танька сказала, что раз это так неприлично, то нечего обтягивать. Родителей не поминали, мысль про отцов, у кого они были, мешала и подчеркивала неприличие.

Мне было легко — у меня что? Дедушка, старый уже. Как бы собака или слон. А мой любимый Старый Военный Доктор был

настолько грезой, что до штанов и мысли не спускались, парили в районе фуражки с гербом.

— Я уже запуталась, — Лилька любила конкретные цели, — что мы хотим понять? Что обтягивать неприлично? Что надо такие штаны иметь, как будто у тебя в них как бы ничего и нет вовсе?

— Ну, наверно, да. Вон на стадионе статуи: пионеры, Чкалов, у них штаны не обтягивают.

— Ну Чкалов ни при чем, он на полюсе, там холодно, у него вообще штаны из ватника. А пионер — это да, у них не обтягивает…

— А пойдем к памятнику на площадь, посмотрим, у него как?

— Так он в пальто, разве заметишь…

— А как у Ленина? Надо посмотреть, как у Ленина.

— Пошли ко мне, у нас есть портрет, — предложила я. Но портрет оказался без штанов, вернее за столом, там штанов не видно.

Стали рыться в книжках, про Иванушку-дурачка нашли — не обтягивают. Композитор Шуберт — не обтягивают. Дедушка читает про Сарвунаролу какую-то — вообще непонятно. Она страшная женщина была, наверно. Тарас Бульба — это даже не штаны. Суворов, ага, обтягивают, еще как обтягивают, а он герой! И Кутузов, толстый, тоже герой, все обтянуто!

Пришла моя бабушка, довольная, что культурные книжки рассматриваем. Позвала на кухню, чаю с пирожком попить.

Еще школа

В жизни школьника буква «у» является основной бинарной оппозицией: Ученик — Учительница.

Оппозиция неровная. Ученик, он что? Успевающий или удручающий. А вот Учительница, Учредительница непреложной истины, Убедительница советского образа жизни, Усмирительница каверзных вопросов, а то и просто Удушительница детства. Мне повезло, я была успевающая, а плохие «У» настигли меня позже, в другой школе, в другом городе, в другой жизни.

В начальных классах у нас была замечательная учительница, молодая, красивая, стройная, хорошо одевалась, была терпелива и благожелательна. Идеал девочек. Королева принцесс. Пример примеров. Со своей тайной красивой и правильной жизнью. Портреты таких женщин должны висеть в золотых овальных рамках в комнатах достойных домов и залах музеев.

Ее сменила в пятом классе классная руководительница, учительница географии. Во-первых, она была старая, во-вторых, толстая, в третьих, чулки у нее были перекрученные, швы набок. Не вдохновляла девиц на их пути к прекрасным дамам, которыми они, несомненно, станут. Она была — ну Бастинда!

Растрепанная, нелепый перманент, неровная красная помада. У нее, как мы подсчитали, было всего два платья, дурацкий сарафан, дешевые брошки.

В начале сентября, встретив в коридоре нашу Королеву начальных классов, я с легкой подлостью донесла: ну, сейчас у нас скучная старушка, одно разочарование.

Ей пришлось завоевать нас, девочек, еще помнящих Королеву. Ей это удалось. Просто и естественно. Подойти, обнять: как дела? Что грустный сегодня? Ну сядь, расскажи…

Ее не боялись, ее просто не хотелось огорчать. Всегда веселая, она вселяла уверенность, надежду на правильность жизни, на то, чего мне так не хватало внутри, заветной магии трех слов: *«все будет хорошо».*

Как-то раз она заболела. Моя бабушка, бессменный родительский комитет, общественница-помогательница, испекла пирог, и мы поехали ее навестить.

Типичный старый одноэтажный ташкентский дом, за воротами — тенистый двор, квартиры выходили во двор верандами, на них — незамысловатые кухни, во дворе колонка, туалет, под старой чинарой стол, накрытый клеенкой.

Она принесла чай, сели на веранде.

Они разговаривали, мне было скучно, я рассматривала большую сумрачную комнату в приоткрытую дверь. Край кровати, на ней — большая голая мужская нога, худая, страшная, костистая, как у древней птицы. Под кроватью — незнакомый белый овальный предмет.

Судно, потом объяснила бабушка, ее муж парализован с войны. Его привезли в Ташкент и положили на вокзале. Она ходила каждый день туда встречать эшелоны с возвращающимися солдатами. Нашла его не сразу, соседи помогли принести его в комнату.

С тех пор прошло двадцать лет, она читает ему вслух, иногда ходит одна в кино. У них есть радио.

Моя любимая Учительница Анастасия Петровна, Утешительница, Успокоительница, Уберегательница, Умирительница…

Прости меня, пожалуйста.

В четвертом классе случилась со мной загадочная история.

Мы учились во вторую смену. Кончились уроки, школа была уже пустая, гулкая, темноватая… Мой одноклассник позвал меня на второй этаж, ну где уже совсем никого не было. Я пошла, напряженно думая, зачем это?

Там он дал мне звонкую пощечину. Не торопясь, засунул руки в карманы, изрек многозначительно: «Ты знаешь, за что». И пошел домой. Не спеша, уверен был, что не побегу с лестницы спускать, навалившись.

А я стояла и размышляла, ну действительно, за что? Перебирала в памяти ближайшие события, ничего такого связанного с ним, я вообще его не замечала, он — меня…

И не ябедничала на него, и не дралась с ним, и сидела далеко, и даже не дразнила, не обсмеивала, язык не показывала…

В голову лезли дурацкие мудрости взрослой дворовой жизни: бьет, значит, любит. Или ревнует.

Меня никто не любил, да и как можно меня любить: длинная не по годам, некрасивая неуклюжая девица, замирающая некстати, городская дурочка, всегда бегущая сзади… а раз не любить, так и ревновать ни к чему…

Но это все глупости.

Моих знакомых сверстников, погибших только в Афганистане, — 24. И он — среди них, так что я никогда не узнаю.

* * *

Нас интересовало, почему у Ленина не было детей.

Учительница русского нам сказала: он был так занят революцией, что не до детей было. Это не убеждало.

Ну и что, все заняты, вон, Бертина мама на трех работах, и детей две штуки, и никакого мужа, еще бабушку кормить. Или Худайбердыевы, у них вообще детей не сосчитаешь, сколько по двору ползает, а у ихней матери революционный орден. Да сколько таких примеров!

Среди нас, интересующихся, был Петя Еремеев — глубокодумающий мальчик. Он сказал, что как раз вожди революции должны иметь помногу детей, чтобы продвигать эту революцию дальше было кому. А от Худайбердыевых никакого толку в революции не будет, они беспрерывно жуют и даже не дерутся.

Так как Ленин был хороший и правильный, то вопрос был скорее насчет здоровья, вот поэтому мы и зажали в коридоре Евдокию Дмитриевну, учительницу биологии. Мы специально подошли к ней на перемене, когда вокруг были другие учителя, чтобы ей не отвертеться.

Петя Еремеев громко сказал:

— Евдыкия Дмитрывна, люди грят, у Ленина была болезь —

сыпилиз. Это правда, что от сыпилиза детей нема?

Петя был бедный сирота, никто бы его ругать не посмел. И родителей вызвать нельзя — потому что он жил у какой-то пьяной родственницы, а с ней разговаривать бесполезно.

Учительница немецкого Роза Исмаиловна захрюкала в платочек. Евдокия Дмитриевна побагровела, шумно задышала и закричала:

— Еремеев, ты смерти моей хочешь? Пошел вон!

Мы разлетелись за секунду. Петя обещал выяснить у Хащенки-второгодника, у того брат работал в милиции. Наверняка он знал.

* * *

Учительница немецкого Роза Исмаиловна, которая от Ленина захрюкала в платочек, была веселая женщина.

Она считала, что ей очень повезло в жизни, когда она закончила Ленинабадский педагогический институт, вышла замуж за ташкентского татарина, переехала на нашу улицу и пришла работать в нашу школу.

Но в начале жизни Розе Исмаиловне не повезло: она родилась крымской татаркой в 1933 году в Крыму.

Так вот, когда она была еще просто девочка Роза и была война, они уже почти не учились. С утра ходили в школу ненадолго, а потом собирали каперсы вдоль дороги, орехи в заброшенных садах, помогали на огородах — в общем, пытались прокормиться.

Однажды утром они пришли в школу как обычно, но потом их окружили солдатами и повели к грузовикам.

— На экскурсию? На дальние огороды?

Грузовики затянули брезентом, чтобы ничего не было видно вокруг. Они стали петь, чтобы подавить заползающий в душу страх. Их привезли на вокзал в Симферополе, затолкали в вагоны. Каждому дали хлеба и сухой тараньки. Поставили в вагон бидон с водой. Закрыли двери и повезли.

Девочка Роза не могла плакать. Ей казалось, что это все происходит не с ней. Она оглохла. Она даже не хотела смотреть в щелку на уходящие знакомые холмы, внезапное серое болото, темнеющие полустанки чужих деревень.

На большой станции их выгрузили. Только тут она почувствовала вонь, духоту вагона, липкую грязь на руках. Глухота вдруг прошла, крики, стоны, ругань неслись со всех сторон. Все навалилось на нее сразу, она расталкивала других

детей, пытаясь пробиться к взрослым, стоящим отдельно за цепью солдат.

Цепь расступилась, ее схватила за руку какая-то женщина, потащила к матери, сидящей на земле возле больного отца.

Снова погрузились в вагоны, уже семьями, им накидали хлеба, мешок картошки.

Ночью умер отец. На станциях их пересчитывали, два солдата вытащили его и положили на насыпь. Русские женщины стояли поодаль, две с мешками, им разрешили подойти к вагону — отнести корм для татар. Одна тайно сунула Розе пару вареных яиц.

Розина мать сорвала с шеи серебряное ожерелье, кинула русской — похорони моего мужа, прошу тебя.

Солдат поднял его и положил за пазуху.

Поезд тронулся. Русская закричала:

— Похороню, по-людски сделаю, Христом Богом клянусь!

— Аллах тебе в защиту…

— Как звали его? Имя скажи. — Русская уже бежала вдоль вагона.

— Исмаил, Исмаил, Исмаил…

* * *

Комендантша общежития, где жила наша пионервожатая Люся, была незлая тетка. Она была строгая и блюла честь вверенных ей девушек. Для кавалеров у нее имелась скамейка перед входом, для других — скамейка под навесом на веранде, ближе ко входу.

Сама она сидела на высоком табурете в двери и вязала. Она загораживала собой проход, можно сказать защищала амбразуру. Чтобы пройти, надо было ждать, пока она слезет с табурета, положит свое вязанье, достанет разлинованную амбарную книгу и запишет химическим карандашом, кто к кому, по какому делу и на сколько. И время запишет. И прорычит, что, если опоздать на выход, она свистнет милиционера. Мужеского полу не допускали даже до веранды: стой тут, а я позову.

Уходила внутрь, запирая дверь ключом.

— Ты чо кажный день ходишь? Делать нечего? Лубов? Тогда в ЗАГС веди, неча тут просто так ходить.

— Ну я, может, и поведу, дайте познакомиться.

— А шо долго знакомиться? Знаю вас, кобелей, напортачите по углам.

— С цветами? В ЗАГС ведешь или нет? Паспорт показывай. А родственники есть? А где они?

Мы пришли проведать нашу любимую пионервожатую, у которой была ангина. Нас пустили быстро, проверив кульки и карманы, чтоб записочки или сигареты не приносили.

Люся была закутана в платок, говорить она почти не могла, улыбалась, показывала фотографию мамы, себя в детстве. С ней было хорошо даже помолчать. Мы развеселились, стали петь ей дурацкие песни.

Через полчаса пришла комендантша нас выгонять. В руках у нее был стакан чая на блюдечке и маленькая сковорода с крышкой — яичница.

— На, поешь-ка, Люсик, пока горячее.

Она повела нас вниз отпирать дверь и сунула каждому по ириске.

Внизу уже толпились кавалеры.

— Так, молодцы, а ну сойди с веранды.

Она оглядывала выходящих девушек, напутствовала на вечер: смотрите у меня, в двенадцать закрою и даже спать лягу. На дворе заночуете. Разбирайте своих, и построже там, под юбку-то не давайте особенно.

— Маринка, ты что топчешься? Да знаю я твои секреты. — Она вытащила из кармана трешку и сунула девушке. — Вы тут кажный день заходите Люсю проведайте, у ней никого нет.

— А мама? Она фотографию показывала.

— Мама! Эта мама где-то подолом машет, помрет — не узнаем.

* * *

Про эту комендантшу можно еще рассказать.

У нее в общаге тоже комнатенка была, никогда не запиралась на ночь. Она боялась умереть ночью.

— В войну в окопе боялась заснуть-помереть, а в мирное — во сне, ночью. То-то девчат напугаю — придут, а я мертвая. Тут-то кобелей и напустят. Порядку не жди! Вот Зойку вместо себя поставлю, она вас веником драть будет, поплачете по мне.

— Да мы и так по тебе плакать будем, родная ты наша.

— Не подлизывайся! Седни вечером никуда не идут! Косточки из алычи ковырять будем на варенье.

В комнате у нее были кружевные занавески, салфеточки. «Барский уют» — вот как надо жить, а то ишь, пролетарки, раскидают ботинки тут, ходи собирай.

Под кроватью у нее стояли запасы на зиму: варенья-соленья, сухари из остатков хлеба. Заготавливали на веранде, потом ели зимой всем общежитием.

К некоторым приезжали родители повидать. Она ревновала, ругалась с ними, потом мирилась. Все хотели девочек отправить в Ташкент — ближайшую столицу. Ну а кто сироты — так все ее, она и присмотрит, и замуж справит. У нее был запас простыней и полотенец — выписывала лишнего и ховала в шкафу. Выдавала в приданое. Наверно, ангелы должны быть такие: рычливые, строгие. Босиком летом, валенки зимой. Тонкая седая косичка с цветными заколками. И вяжут они беспрерывно, отвлекаясь только на спасение непутевых или несчастных.

Категории лиц

У нас во дворе все всё знали.

Кто лагерный — это мы, то есть бабушка-дедушка и я, профессорша Александрова и еще много соседей.

Кто еврей, например Борька, Лилька, Берта, Яша-маленький и даже мой любимый Военный Доктор Марк Михайлович.

Гриша-сапожник был ассир — это что-то такое между армянином и татарином. Но больше он считался сталинист, у него в будке среди шнурков были и ленин, и Сталин. Он не соглашался снять Сталина ни за что. А ленина снять тогда никто и не просил.

Буркановы-родители были русские. Они об этом часто говорили как о большом и важном деле, наложенном на них сверху — нести просвещение узбекам, которые без них, Буркановых, даже задницу подтереть не могли. А ихняя Таня была как все, просто девочка, и с Равшанкой, узбеком, играла, а родители ее не одобряли. Считалось, что ей надо дружить с нами, неузбеками. Чтобы набраться не вшей, а культуры.

Одно время я считалась лагерная психическая внучка, но потом стала просто психическая внучка. Это потому, что Хрущев отменил лагерных.

А узбеков и евреев не отменял. Берта ждала, когда отменят жидов.

Я писала Хрущеву поздравление за отмену лагерных. Нарисовала розы и красиво написала:

«Уважаемый Никита Сергеевич!

Желаю Вам долгих лет жизни и здоровья и благодарна очень, что Вы нам дали квартиру и реабилитировали нашу семью».

А бабушка заставляла переписывать слово «реабилитировали», чтобы правильно было.

Берта тоже хотела написать ему, чтобы отменил «жидов» или «реабилитировал». Но я уже не помню, послала ли она письмо. У нее так всего боялись, что, наверно, ей не разрешили.

* * *

Всем, кто пережил вредность детства, надо давать медаль.

А кто бабушками воспитывался, а не в детском саду — даже две.

Лилька рассказывала, как там хорошо, в детском саду. Делай

что хошь, хоть в носу ковыряй весь день, только хором петь надо и танцевать. И стихи про Ленина учить. Но это не каждый день.

Еды навалом одной и той же, ничего неожиданного. И сахару в кашу насыплют сколько хочешь. Ну и что — игрушки общие. Можно все равно своего Буратину завести, отнять и не давать. А спать заставляют только младшую группу, а остальных — не шуметь, и все. Ей нравилось.

Берту пытались как-то в садик отдать. Но ничего не вышло — ей там не хватало еды и не разрешали жевать весь день, даже если с собой принести. И пихаться и драться нельзя. Особенно когда поешь хором. А стихи она не учила никогда и ни за что, даже за печенье. А меня даже не пытались в сад отдать.

Я все при бабушке состояла, как на войне. Прикажут есть, читать, гулять, музыкой заниматься или вышивать. Только хором не пели. У меня так плохо с пением было, что бабушка не хотела со мной дуэтом. А зря, это мне как раз нравилось.

Я потом прочла у писателя Достоевского про внучку, которую булавкой к бабушке прицепляли. И почему это моя бабушка так не делала? Она ведь наверняка читала про это воспитательное достижение. Ей бы легче было, чтоб я все время не вырывалась. Или на цепь меня посадить возле рояля. Чтоб дотягивалась гаммы играть.

Вырвешься иногда во дворе сливы воровать в узбекских садах за домом, только идешь назад, а бабушка тут как тут с неодобрением воровства. Все разбегаются, а я стою. Даже один раз пришлось назад идти извиняться и сливы отдавать. Во дворе меня потом предателем считали, это несправедливо. Я у них как Христос была, который за всех грехи принял.

Бабушка считала правильным во двор с книжкой выходить. Или играть в пристойные игры. А где их взять? В дочки-матери? Так я там была последней дочкой, Золушкой какой-то: подмети, принеси.

Но иногда меня очень даже одобряли. Это когда вечером гулять и ждать машину моего любимого Старого Военного Доктора, смотреть, как он въезжает во двор, выходит, открывает дверь гаража, набегают мальчишки, суетятся с ним. А потом он идет через весь двор домой, задевая фуражкой акацию…

Сидеть и смотреть, паинькой такой, как на открытках рисуют. И улыбаться. И поздороваться с Доктором отчетливо, громко и вежливо.

За это можно даже не проситься играть в войнушку. Даже не бегать за сливами, даже не…

Чужое прошлое

Чужое прошлое было частью нашего настоящего. Не всегда удавалось его отогнать. Магия слов. Серебряная пуля. Монте-Кристо. Анна Австрийская.

Ляжешь спать, повторишь в темноте раз десять. Может, и приснится потом. Сегодня у нас опять собирались старики. Лагерные, и разговоры у них лагерные. Иногда отвлекутся: старики на литературу, дамы на оперу. Ну петь потом будут.

Главное, чтобы их слова не залезли в голову, особенно к ночи.

Монте-Кристо, Монте-Кристо, никаких костылей к перебитой ноге!

— Тише, пожалуйста, Лидия Александровна, дорогая, я боюсь: девочка услышит. И так впечатлительная, к доктору водим.

— Я записываю, новые поколения должны знать правду.

— Ирек Садыкович, зачем? Ну узнают: или не поверят, или посадят опять.

Анна Австрийская, не позволяй им, ты же королева, пусть не смеют, я не хочу про то, как их били, как они мерзли, как канавы рыли, я хочу, чтоб за подвесками спешили, пусть умирают на скаку, сраженные пулей из мушкета, неверным ударом шпаги сквозь бархатный камзол, не надо ватника, не надо махорки…

В темноте, лицом к стене, в другой комнате, серебряной пулей, и призраки уйдут…

Ташкент в начале шестидесятых.

Куда мог пойти человек, давно никому не нужный? В детский кружок танцев в парке Горького. С аккордеоном, тапером при старой балерине-наставнице, вышедшей в тираж еще до войны, чесеирке,[12] обычный миф: она из Ленинграда, но что-то не сложилось, потом, сами знаете, война, Жизель, конечно Жизель, — вот так руками, научу, конечно, научу, конечно…

Начало в четыре, тапер еще трезвый, но уже для вдохновения опрокинул стакашок. Девочки — все худые, с косичками, в сарафанчиках, стали в рядок, ручки подняли и пошли… Под аккордеон. Что замолчал вдруг? Слезы покатились, менуэт невмоготу? А что вмоготу?

— Сергей Васильевич, ну пожалуйста, еще раз, с начала. Подбородки подняли. И-раз, И-два…

Еще полчасика, и можно окурок засмолить.

Еще двадцать минут — и все.

И эта старуха с внучкой угостит — всегда приносит и

балерине, и ему по пирожку. Всё, раскланялись, она подходит, из сумки достает.

— Спасибо, уважаемая, дай Бог вам здоровья.

Руки тапера начинают дрожать, стесняется, берет гостинец, отворачивается, ковыляет скорей прочь.

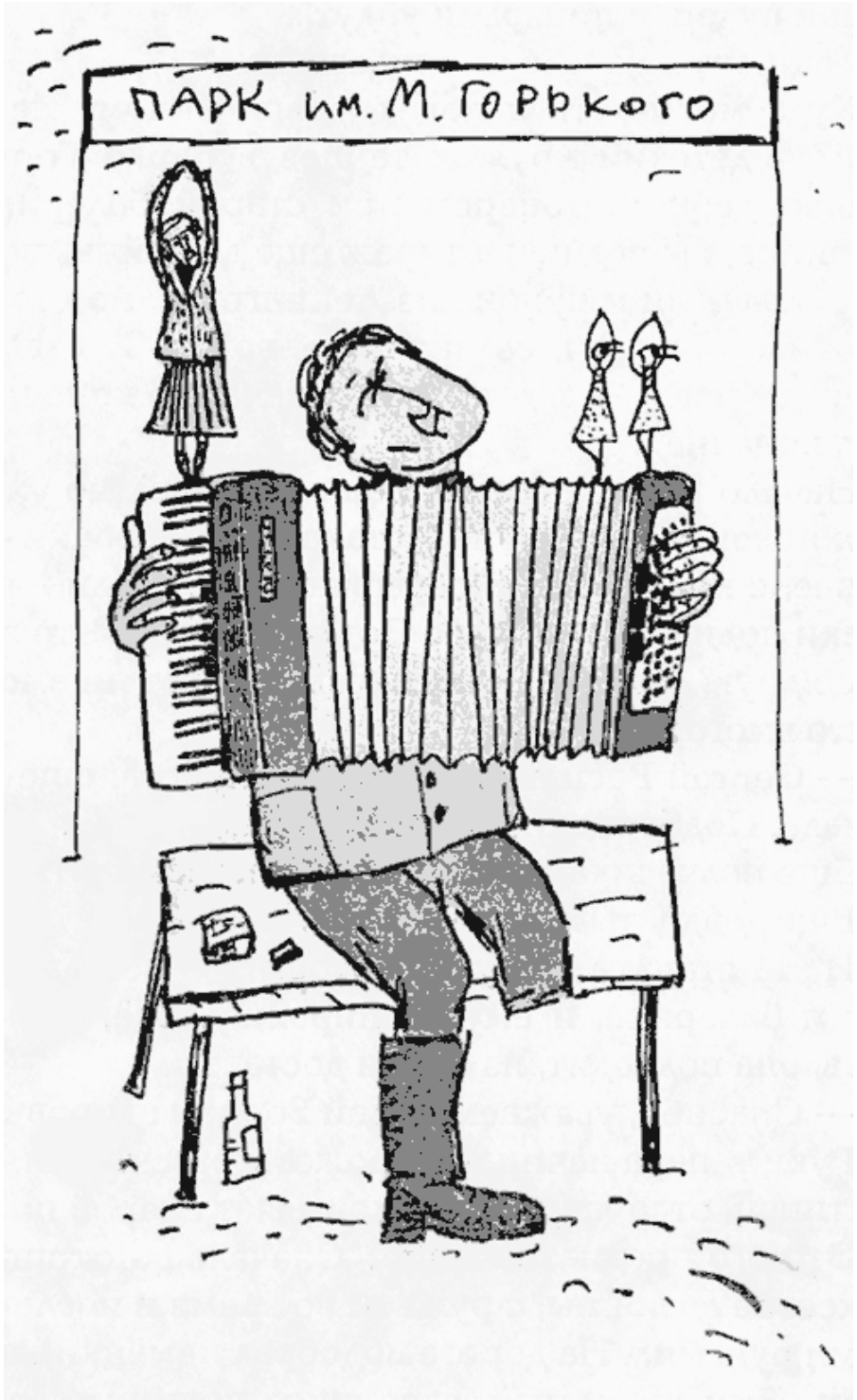
Это его предназначение? Сначала со скрипкой в оркестре до войны, с ружьем во время и после с пустыми руками… На дороге подобрал немецкий аккордеон. Ему знакомый сапожник починил, залатал, кнопочки приладил. Играет вот. Хрипит, правда, маленько, но слушатель простой, не ропщет.

После танцев он еще на аллейках поиграет, а завтра у цыган. С вокзала сгонять стали, а там неплохо было, в теньке, и поднесут провожающие-встречающие, и угостят.

Крутиться надо, чтоб с голоду не умереть под забором. Во все времена, *«Блажен, кто посетил сей мир…»* — кричит спьяну. Постовой цыкает: ишь, блажен, ты мне религиозную пропаганду не разводи тут, пшел вон.

Надо героическим удобрением лечь для неведомых поколений или что? А как же уникальность? Талант? Однозначность судьбы? Насмешка? Вот ногу потерял на войне, но не руку же, на аккордеоне могу, 45 рублей в месяц, только бы из комнаты не выгнали. Непрописанный, медаль пропил.

«…в его минуты роковые…» А у него все роковые.


ПАРК им. М. ГОРЬКОГО

— Утюжок молодой, ему дам, неча ему по кустам дрочить. А тебе нет, вонючка ты, облезлая обезьяна.

Базарная шалава Эльза подрезала любимому Утюжку ногти на руке, попыхивая папироской. Ногтей было всего пять, потому что у него левая рука отсутствовала ниже локтя, а ноги были оторваны вообще, и он сидел на самодельной тележке с подшипниками с лета сорок четвертого года. У него было маленькая дощечка — отталкиваться, как веслом. Такие дощечки назывались в народе утюжки. На утюжках идет — в те времена это было понятно сразу.

Утюжок был молодой, синеглазый. Одно время старался не пить, по утрам умывался под колонкой и подрезал бороду клином.

На базаре он считался мудрец. Истины разговаривал, как уважительно говорили о нем другие инвалиды и побирушки, обитатели базара. Он не был похож на них, крикливых, бесстыдных, выставляющих свои гноилища на снисхождение. Он не просил, но редко кто проходил мимо, не дав ему медяков или не покормив его. Он и ел достойно, откусывал маленькими кусочками.

По вечерам, когда базарный шум стихал, он облокачивался на фонарный столб и читал обрывки газет и две замусоленные книжки, которые держал в котомке за плечами. С котомкой он обращался ловко, закидывал за плечи одним движением.

Но со временем Утюжок тоже втянулся пить. Спьяну начинал плакать, кричать «убейте меня», хватать за ноги торговцев, пытаясь выхватить узкий нож, который узбеки обычно носили за голенищем сапога. Один раз успел, вытащил ножик, порезался неуклюже. Его помыли, перевязали. Русская бабка стала увещевать его: грех, Бог жизнь дал, Бог и возьмет. Он рассмеялся и укатил в тень.

В какой-то обычный весенний день он пропал.

На мосту нашли его тележку.

Когда к лету вода в реке спала, обнаружили самого Утюжка: за пазухой и в котомке — кучка камней.

Не мог он сам дотянуться и перевалиться через перила моста. Кто-то помог ему, оказал последнюю милость.

* * *

Вот говорят, индийские фильмы, мелодрамы, Шекспир, где все умерли, или «Риголетто» какое…

Так вот, в Ташкенте в 1954 году родился мальчик. В

интеллигентной, как принято говорить, еврейской семье. Ученые, там, врачи… папы у мальчика официально не было, по сути вполне был — его дедушка, пока не умер.

И мама была, пока не умерла, продолжилась бабушкой, пока та не умерла.

Потом тетей, пока та тоже не умерла, потом опять по сути папа появился — дядя, пока не умер.

Потом все умерли, а ему двенадцать лет. Отдали в Суворовское училище, продвигаться по музыкальной части. Сбегал два раза. Ловили. Не били, пытались объяснить, что для его же блага — кров, хлеб, казенная шинель…

Сейчас уже лысый, наверно, если жив.

* * *

Почему ее звали Этель Львовна? Она была настоящая англичанка, на каком-то очередном Интернационале познакомилась с русским и вышла за него замуж в 1936 году и сразу по приезде… правильно, угодила в лагерь как член семьи расстрелянного.

Исключительное однообразие советской жизни в лагере не сломило Этель, она как-то пережила это и оказалась в пятидесятых годах в Ташкенте, что было очень хорошо, тепло и в какой-то мере сытно.

У нее бывала мысль — доехать до Москвы, пойти в посольство, вернуть британское гражданство, уехать на родину и найти свою семью, но ни сил, ни денег уже не было. И не было смысла в неежедневных целях. Борьба за то, чтобы не умереть сегодня и дотянуть до нар к ночи, меняет сознание. Оно становится Божьим в самом смиренном смысле этого слова, как птицы небесные… нищие духом, блаженные, хромые и прочие, где нет места ни гордости, ни ценности, ни Духу Божьему внутри нас или них…

Короче, Ethel стала Этель Львовной в комнатке типичного коммунального ташкентского дома: темноватая комната и общий двор. Ну конечно, во дворе стол с клеенкой, сортир, колонка для воды, излишнее братство, обиды туда-сюда, прощения с пирогами…

Она учила меня английскому языку и отказывалась брать деньги, потому как я была из семьи репрессированных.

Мне в детстве казалось, что все бывшие лагерники и арестанты дружат с моими стариками, собираются у нас в доме, и неарестантов и нелагерников — только сапожник и лепешечная

торговка. Что все, кто умел читать и писать, сажались в лагерь, это было совсем не так: в лагерь сажались и неграмотные.

Как-то раз меня послали за луком, и я заблудилась. Меня привели к дому со словами: «Она, наверно, из „репресивых“, говорит гладко».

Они надоели мне уже. Они, арестанты эти, приходят ночами, они вторгаются в мою жизнь, затмевая мои собственные горести. Отнимают у меня МОЕ прошлое, затягивая его своим. Я чувствую себя репрессированной самозванно.

Уйди от меня, ужасное слово. Освободи меня!

* * *

— Я еще в Одессе так сидела на рынке! И никто мимо не проходил. А как же, страшно впереди, хочется судьбушку узнать. Цыганькам не верит никто, врут они, а я правду говорила.

Я Рохе так прямо и сказала — умрет у тебе младенчик. Так она посмеялася, ну он и задохся внутри. Потом же ходила до мене космы дергать. И глаз выбила. Ее ишо милицанер забрал. Но с горя отпустили. Она на мене порчу насылала, а мене порча не берет.

А я шо? Я виноватая, шо карты легли? Кто мене эти карты ложил, с того и спрос. Я у Бога почтарка. Он стасует, а я скажу.

А как злое не говорить? А шо вот я ей должна гадать? Шо родится у тебе младенчик живехонек? Она же придет мене глаз бить, скажет, врала как цыганька.

Или вот Матька, пришла, когда война была. Грит, про мужа скажи. Раскидала я карту, а там он неживой. Говорю ей: не жди. И денег не возьму, и хлеба даже. Не жди его. Так и вышло.

На войну гадать легко — живой-неживой. А тут приходят: в лотерею выиграю? Квартиру сменяю? Разве Божье это дело на мелочь смотреть? Или, грит, мне его сгуби как-нибудь! Сгубить — это не до мене, за колдовство до злодеек идите.

Я не мешаюсь. Как карта ляжет: кому плясать, кому помирать.

* * *

Старик-сосед не любил 9 мая.

Старался не выходить из дома, задергивал занавески, закрывался в комнате.

Иногда досаждали пионеры, приходили с цветами, звали в

школу. Однажды пошел, приколол ордена, медали, как полагается. Достал фуражку из шкафа, помялся, надевать не стал.

В школьном зале сидел сбоку возле красных портьер, смотрел, как за сценой готовятся выступать, как жучат их училки, поправляют девочкам белые бантики на тонких косичках.

Что делал на войне? Как все, убивал врага. В танке. В Сталинграде, Кенигсберге, Варшаве, Берлине. Где скажут, там и убивал.

Училки подсказывали вопросы. И ему наказали: детей не пугать. Рассказать положительно.

Положительно, да, как ни странно, это было самое простое время в его жизни. Легко рассказать. Самое понятное самому себе. До и после войны он жил иначе, тоже на войне. Но без фронта.

Старался не думать о прошлом, они все так жили, все вокруг.

Люди, как просо в решете, кто провалится, кто в угол забьется… Эх, разве объяснишь? Да и кому?

После его смерти соседи нашли пятнадцать листков бумаги, исписанных химическим карандашом, печатными буквами.

Доносы на родственников.

Сам писал на всякий случай? Не пригодились? Или кто другой писал, а он отнял-припрятал?

Раздали его одежду, распределили мебелюшку.

Соседка взяла его ордена, бумажки-документы, принесла в музей.

— Доносы не возьмем, это не по нашей части, у нас тут «боевой славы». Это в органы несите.

«Ну да, пойду я в органы, как же», — подумала она и сунула бумажки в урну.

* * *

Когда старик умер, приехала из столицы дочь.

Сын его — пьянчужка и дебошир — жил недалеко, распорядился похоронами.

Друзей у старика уже не осталось, кроме двух, уже совсем немощных, которые даже не могли подняться в квартиру и ждали во дворе, когда вынесут гроб.

Собрались соседи, собутыльники сына нетерпеливо топтались в стороне.

Дочь участвовала, поправляла саван, цветы. Сын ревниво обдергивал за ней.

Дети сами уже были старые. Закоснели в зависти и вражде.

Но молчали. Каждый торопился поскорей засыпать могилу и еще раз проклясть друг друга, уже навсегда.

Оставались поминки.

Соседи накрыли на стол. Выпили за упокой. За столом — незнакомые люди, уличная сумасшедшая приперлась на халяву, мычала, перебивала всех.

Сын захмелел быстро, запинаясь, краснея лицом, хвалил отца за благородство. Да, благороден был старик и милосерден, нет бы по морде надавать, выкинуть с глаз долой, нет, он глумление терпел, побои, забирал из вытрезвителей, деньги давал. Дочь не отстала, промямлила, как отец поощрял ее с университетами. А ведь забыла его, выкинула из души, ни разу не заступилась за него, ни денег, ни заботы, ни милости какой.

Затаились дети, к бою готовились, вдруг у старика на книжке рублей триста да пара дешевых брошек от старухи осталась.

Не утерпели, сцепились: не отдам квартиру, часы заберу, простыни…

Соседи со стола убирали, а ты, Бог милосердный, где был?

Из счастливой жизни

Другие одевались в мамино, а я в бабушкино.

Ну конечно, никаких каблуков — дедушка у нас маленький, вот бабушка и шлепала плоскими подошвами. И вообще мало было у ней платьев. Зато у нее были как бы шелковые перчатки, даже несколько штук, две шляпки соломенные и зимняя шапка с бриллиантом, и шарфики — шелковый и бархатный, и брошек две штуки. А у девочек нашего двора вообще не было шляпок. В общем, если взять туфли тети Риммы, шляпку и перчатки моей бабушки и лисовую горжетку Кремерши — то всё, я принцесса чистой воды.

Кремерша давала лису только мне, не разрешала никому ее надевать. Поэтому я была единственной принцессой в мехах. А еще у нас была шелковая занавеска. В принцессовые дни бабушка, кряхтя, залезала на стул, отстегивала занавеску и делала мне придворную юбку. Длинную, так что можно было без каблуков выглядеть достойно.

На улицу мы не выходили, мальчишки смеялись, потому что они дураки. Только Яша-маленький был с нами, он был паж Анри, ему надевали дедушкину беретку и к ней прикалывали английской булавкой перо из дохлой вороны. Ему давали на шею цепь из скрепок, на ней висел орден из кефирной крышечки. А деревянная сабля у него своя была. И он таскался за нами с рыцарской покорностью. А мы шлендали между этажами из одного дворца в другой.

— Ах, вот я сейчас поеду к графу Шваль де Крокодуль на четвертый этаж. — Лилька была готова — мамино выходное платье креп-жоржетовое напялила и набила газеткой ее огромные выходные туфли с золотыми пряжками. Она гремела ими, как де крокодульская лошадь копытами.

На четвертом этаже делать было нечего, графа не было дома, честно говоря, там никогда не было графов, там жила покинутая учительница Анна Михайловна, строгая армянская семья, и коммуналка, в которой орала сумасшедшая баба Варя. Повертевшись у графа перед воротами, Лилька топала вниз, она спускалась задом наперед, одной рукой хваталась за перила, другой поддерживала платье. Надо бы еще две руки — туфли держать, Яша в таких случаях бесполезный был, самому бы справиться: сабля била его по ногам и беретка сползала. Но они упрямо топали к нам, где моя бабушка встречала их церемонными поклонами — это графиня Лилька Шваб-Муренмурская с пажом Анри приперлись к принцессе Авроре

Любентисской-Бубенманской (это я в горжетке, шляпке, занавеске и перчатках) попить чайку с пирожными — маленькими горячими сухариками с сахаром, сушками и липкими конфетками. Любентисская-Бубенманская встречала гостью надменно (потому что Лилька противная и Яшу все время к себе переманивала конфетами, а других пажов (пажей) у нас не соглашалось быть).

За столом уже пожирала сухари и сушки герцогиня Берта Фунфыльская в кружевной кухонной занавеске, брошах с ленточками и бусах со всего подъезда. На голове у нее красовалась летняя шляпка моей бабушки, сверху был повязан огромный шелковый бант. На герцогиню Берту Фунфыльскую вообще много всякого помещалось.

Тут бабушка решительно усаживала Яшу за стол, а то Лилька требовала от пажа и чтоб его не кормить. На это время бабушка объявляла Яшу своим гвардейским офицером, а ей Лилька не перечила. Гвардейцу подтирали сопли, мыли руки, мазали от цыпок и кормили больше всех.

Во время чаепития бабушка настоятельно требовала, чтобы я изволила снять лисовую меховую горжетку Кремерши. А вытирать об нее руки чтобы я изволила не сметь никогда. Бабушка была опытная фрейлина, нас еще не родилось, а она уже живого царя видала близко. Ну хорошо, без горжетки, это даже лучше, а то жарко и потно очень.

Дальше пели песни про слуг: прекрасную мельничиху, побирушку с сурком из музыкальной хрестоматии. Мне хотелось плакать, когда про сурка со мною, поэтому Берта, зная мою чувствительность, орала: «И мой сырок со мною». Опытная фрейлина за роялем хмурилась и фыркала.

Потом мы танцевали, Яша по очереди топтался возле каждой дамы. Потом приходила заморская греческая принцесса Галатея, она же Галя. Она была старше, но снисходительно напяливала на себя серебряную корону с елочными блестками и соглашалась откушать сушек.

А потом, а потом… потом, наверно, была революция, потому что мы перестали так одеваться.

* * *

Если вы помните, у меня была подружка Галатея, Галя то есть. Она была дочка греческих коммунистов, которые массово прятались в Ташкенте от нелюбимого правительства на их родине.

Так вот однажды Галя плакала навзрыд: выпускное платье из

заграничной материи безнадежно испортили в ателье. Тетя Эвридика, Галина мама, побежала к моей бабушке, которая, знаете ли, была настоящая волшебница.

Дедушка сразу предложил сходить в сберкассу, снять денег и что-нить купить.

— Что купить? Нечего тут купить! — взревела бабушка. — Шить надо, и быстро.

Но вечерело, ленивый магазин «Ткани» закрылся большим висячим замком.

Бабушка огляделась. Ага-а-а, занавески! Наши гэдээровские занавески, привезенные из Москвы. Гипюр чистой воды!

Это была чудесная ночь! Ночь волшебства, сестринства, нестрашной строгости, хихиканья и визжачего восторга. Ночь исполнения божественного предназначения участвующими.

К рассвету платье было готово. Слезы высохли! Моя красавица подружка стояла на стуле, бабушка подкалывала подол. Тетя Эвридика варила цикорийный кофе. Я подметала обрезки. Подружка Янула готовила утюг.

Вот они, смыслы жизни, бессмертные минуты ея, воспоминания, честно заработанные на старость, на смех и слезы через тридцать и больше лет!

Уныние детства

Бабушка иногда вздыхала после обеда, выпив кагорчику: эх, грехи наши тяжкие!

А у меня грехи после обеда как раз начинались: надо было незаметно зарыться в нишу, где под вешалками стояли варенья-соленья, засунуть пальцы в варенье, облизать, потом пойти вызваться со стола убирать, подлить водички в кагорную рюмочку и допить. А если вообще бабушка зазевалась убрать леденцы, то быстро сгрести в карман или в трусы — там они к пузу прилипнут от жары и не высыпятся из штанов по дороге.

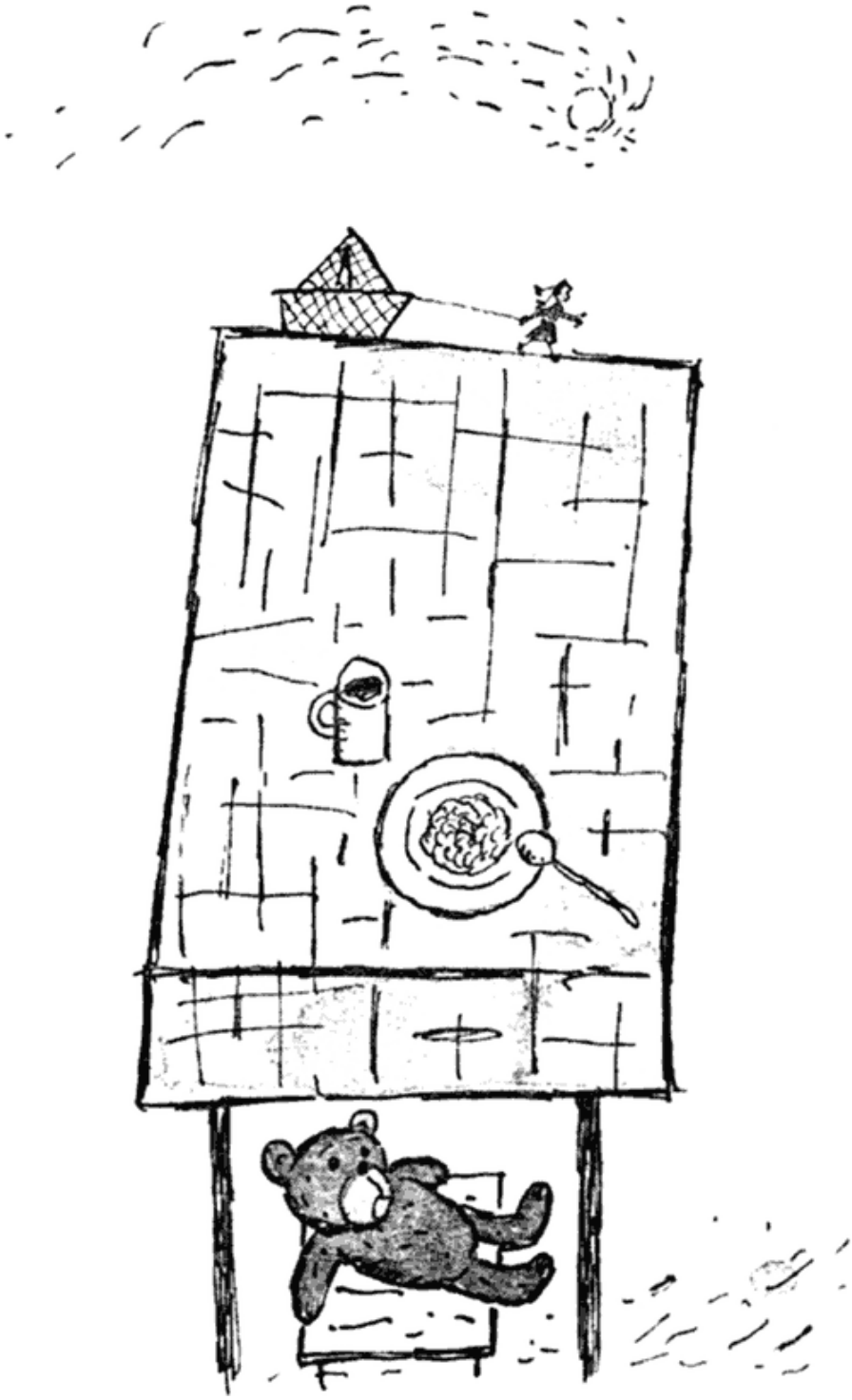
А вот Берта открыто, на глазах у всех кухонный шкаф открывала, ложкой зачерпывала сахар, откусывала от общего пирога и кривлялась на свою бабушку с полным ртом.

Получалось, что у ней был один грех — обжорство, а у меня сразу два — обжорство и воровство.

Но тогда получалось, что за воровство — которое перед обжорством наступало раньше, я уже имею право не сидеть в раю. Тогда обжираться можно было уже сколько угодно совершенно безнаказанно.

Тогда получается, что Берте ничуть не облегчительнее в смысле грехов, но сильно хуже в смысле обстоятельств исполнения. Открытое противостояние опасно и чревато. Можно получить в лоб заранее, и до самого греха не дойдет.

Но Берта гордилась передо мной, что она честнее.



Вообще все смертные грехи случились со мной еще в детстве: и гусениц убивала жестоко, и на старого Военного Доктора

засматривалась благоговейно, и обжиралась воровато, и, что там еще, уже не помню.

Но главный мой смертный грех был уныние. Ему я предавалась каждый день по нескольку раз, особенно когда загоняли спать.

Мне все не нравилось: я как есть, жизнь как есть, устройство мысли как есть и вообще как есть.

И никакого выхода из этого не было: ни из дому убежать, ни на небо улететь, ни превратиться в недосягаемую тьму.

Только умереть, а этого нельзя было никак. То есть, наверно, как-то можно было бы, но страшно. Под машину, там, попасть или утонуть в Саларе — соседней мутной речке с крысами. Даже сама мысль о крысах, их мокрых мохнатых холодных спинках вызывала тошноту и некрасоту.

А сознательная смерть должна быть красивой, чтоб хоть как-то за уныние вознаградиться. Лететь в пропасть в белом платье, помахивая рукой, как крылом ласточки. Или в бурном чистом горно-потоке тонуть, помахивая рукой, как плавником золотой рыбки. Или пламенем возметнуться, как куст в старинной книге, которого никто не видел, но пересказывали как воочию. В общем, чтоб у других оставшихся замирало сердце.

Прекратить смертный грех уныния можно было самосмертью, но и это был грех ничуть не лучше. Неприведигосподничная жизнь, иначе не скажешь, и смерть такая же.

Бабушка этого пугалась и не одобряла еще больше, чем уныние, которое она считала бездельем. Если усердно вышивать розочки и делать утреннюю гимнастику с водными процедурами, то никакого уныния не будет.

Ну вышивали, ну умывались, а уныние не проходило. И печаль была от ветерка и журчащей воды, и от облаков и дождика, и от кинов с красивыми платьями и лошадками. И от часотиканья тоже возникала и не проходила от вышивания.

— Зажралось поколение! Мы кору глодали! А они грустят, видите ли.

А от стыда за грустение веселей, что ли? Вот и без Бога грустить грешно, и с ним грешно, и вставать утром, и в школу идти, и про героев читать…

Играешь, кушаешь, даже если мороженцо, а внутри грустно. Бежишь на войнушке с криками ура, а внутри сидит этот печалевидный ком и наблюдает: беги, ори, дурочка, вечером догоню в темноте…

* * *

Почему взрослые всегда подозревают детей в плохом? Сидя за столом, надо держать руки так, чтобы всем были видны. А если на коленях, то взрослые думают, что в попе ковыряешь, да? Пиписку зря трогаешь, да?

Почему нельзя сидеть в туалете сколько хочешь, даже если никто в очереди не стоит? Что, они думают, можно делать в туалете такого, чтобы осудить и запретить? Все газетки разорвать? Как-нибудь особенно напачкать? А может, просто хочется посидеть взаперти, без никого, ничего не делать… чтобы никто не гонял заниматься полезным для сейчас или для будущего, которое всему человечеству пригодится?

Ведь дети не бывают одни. Только в ванной можно кривляться, только в туалете можно раскачиваться, только в темноте можно тихо танцевать руками.

Как несправедливо, что в голове есть свобода, а деть ее некуда, не протиснуть в жизнь между пользами, целями, просвещением и самоотверженностью.

* * *

Это, боюсь, неправильно — приходить к взрослой ответственной жизни из детства. Это большое разочарование, недоумение и обида.

Лучше уж с другого конца, с конца старческой покорности, которую обычно принимают за мудрость.

Важно выбрать в старости правильный момент для этой зрелой активной жизни. Когда еще не впал в детство или в полное равнодушие. И быстро побежать назад.

Нельзя человеку после детства жизнь доверять. Он еще смутной радостной веры не лишился, через лишение ее он идет к холодному чувству цели.

А потом опять к вере в ненапрасность, а это главный обман души — ненапрасность. Тут требуется астрономическое знание не подпускать — про бесконечное-холодное, про темную пустую пыль в необъятном времени.

В любом случае закончится так, что костей не соберешь.

И когда уже вроде как соединились жизнь и мысль, чувством управляешь в сторону удовольствия — осталось всего ничего: скользить по склону, тормозить сладким обманом неуемное время…

Не смотреть вперед — это и называется благодарность жизни?

Тут и Господа помянуть не всуе…

* * *

Они в тишине детской жизни зреют, эти немедленные мысли.

Время — вот он, главный враг детской воли, главный страж тюрьмы благих намерений, спокойствия и защиты.

— Уйдите, воры моей свободы… я сам…

Любящие не отпускают — ради него, ради самого же, простодушного…

— Побудь подольше с нами, пригрей нас своим детством… Мы старые уже, уйдем, скоро покинем и тебя, и себя покинем…

Тебе еще останется вспоминать, это тоже жизнь — воспоминания, живая, подвластная тебе ткань времени…

Ты успеешь, тебе еще долго плыть, хватать воздух ртом, плескаться, фыркать, отплевываться, долго еще до сухого берега смерти…

— Успею, да, наверно, успею, но я же не научусь своей жизни, а потом будет поздно… Я останусь чужим, оттолкнутым удивлением неуместного детства, стареющим телом и детским касанием…

— Ты прочтешь про все в книжках… Все равно так мало свободы в жизни, ты даже не подозреваешь, как мало…

Как мало ты испытаешь, встретишь, увидишь…

Самые Твои чувства будут чужие, из книг, из кино, из одиноких молчащих просторов…

Самые Твои светлые слезы будут от чужих песен, ты поживешь еще в покое, укрытый нашими крылами…

Только там будешь ТЫ настоящий, свободный, без отчаянных слез побежденного, один, без подлости победившего, бессонная совесть не будет терзать тебя…

Будешь скользить в отпущенном тебе времени, не старея тревогой, не изнашиваясь страхом… И у Бога не будет за что покарать тебя…

* * *

В детстве у меня был невидимый враг. В темноте, когда не засыпается, он приходил спорить со мной. Или пытался отвечать на дневные вопросы. Особенно на самые трудные, когда бабушка кипела душой, а дедушка швырял на стол газету и говорил: «Ну Сатана!»

Или такие вопросы, которые нельзя было спросить во дворе, потому что все сразу убегут и обзовут чумовой и дурой.

Вопросы на тему, как устроен мир, были легкие, потому что

на них можно было получить ясный ответ.

Самые трудные вопросы были, как жить с этим миром, каждый день по нему идти так, чтобы, засыпая вечером, говорить себе: как хорошо я сегодня по нему прошел и далеко пойду завтра.

Он, этот мой враг, хотел любви от меня, восхищения, благодарности без всяких сомнений. Он хотел научить меня потакать его прихотям, понимать и предугадывать его желания и мечты. Он хотел участия, игры по его правилам, покорной, благодарной изворотливости.

Как он назывался: Бог или черт?

Он придумал это устройство жизни, чтобы быть виноватыми от свободы и счастливыми от покорности. Он придумал так, чтобы главное научение жизни было притворяться. Когда играешь в детстве в кого-нибудь, в Снежную королеву, например ты становишься другим. А взрослые, когда играют и притворяются, остаются сами собой. Взрослеть — значит понимать неправду. И делать вид взаимно.

В детстве наказывают за вранье, а во взрослой жизни наказывают за правду. Почему у взрослых неправда может быть милосердна, чтоб не обидеть, а у детей всегда как черная неблагодарность?

Как надо расти, чтобы превратиться в совсем другого? И где надо остановиться расти, чтобы не забыть, какой был раньше.

* * *

Среди бед взрослой жизни можно выделить четыре: бедность, развод, пьянство и смерть.

Бедность — да, это печально, мы все были бедные, нам всегда хотелось того, чего у нас быть не может. И в еде, и в нарядах, и в зеркалах, и в на-море-ездить, и вообще. Но всегда можно было пойти вечером на базар и наесться там бесплатно, или встать у входа и денежку просить, или моей бабушке сказать, а она уж найдет как выкрутиться, перешить, залатать и просто накормить.

Развод — да, это печально, даже, наверно, ужасно. Но можно было со временем разжиться другим мужем, который навсегда или приходящий, что ничуть не хуже, а то и лучше. Он приходит с цветами и кексами, нарядный, трезвый, а потом не надо стирать его носки и позорно вывешивать на балконе. Но и без мужа можно к моей бабушке пойти, скоротать вечерок за чайком с вареньем. А потом поплакать ночью.

Пьянство — да, это печально, это ну совсем ужасно. Но

можно как-то перестать пить, тем более что все готовы тебе в этом помочь. Например, все время что-нибудь делать руками, в саду возиться, строить беседку, быть на виду у строгих людей, у моего дедушки, и сразу стыдно будет водку пить. Если это не помогает, можно попросить прощения и повеситься. Тогда уж точно насовсем пьянство прекратится.

Смерть — да, это печально, наверно. Смотря для кого. Для тех, кто захотел умереть сам, это, может быть, даже радость, и они свободны теперь гулять душой, где захотят.

А если человек не хотел умереть, болел и не справился, то ему, наверно, и умершему плохо, он там лежит в темном холоде земли, по родным горюет…

Для тех, кто остался вокруг, — тоже всякое можно подумать. Кто-нибудь рад избавиться от врага, от фашистов например. Или неутешен, если кто-то любимый умер, тогда это горе насовсем.

Даже если обняться с бабушкой и дедушкой, это может и не помочь в таком деле, как смерть.

Сколько ни видь жизнь, сколько ни думай, летит она мимо со своим туманным, таинственным смыслом…

* * *

Когда смотришь кино про красивое, невозможно оставаться самим собой. Только там жизнь и бывает, она там развевается на ветру под нежную музыку. Как правило, счастье бывает в прошлых красивых временах, когда на конях скачут, чтобы шляпы с перьями, кружева и слезы.

Душа летит куда-то и не верит своей реальной жизни, что вот это — всё, что дано: цыпки, кривой зуб, медяки, серая каша, штопаные чулки, пара кукол, плюшевый медведь и линялый заяц. Из временного счастья — липкое мороженое караулить, когда привезут, и домой донести, на рынок пойти, персиков купить, цветную проволочку найти, в пыли топать, носиться с визгами по двору и не думать.

Не только возможности счастья ограниченны, но и возможности несчастья тоже.

Вот, например, умереть в молодости от ревнивого выстрела, упав со скалы в море. Но не кверху ногами, чтобы платье задралось и штаны видать, а боком как-нибудь лететь красиво. И чтоб шляпа кружилась на ветру одна, без головы… Или на балконе под солнышком в цветах угаснуть тихо… в чепчике и пеньюаре, не перекоситься судорогой лица и не описаться, упаси бог. И чтобы птички пели или музыка печальная тренькала тихо…

И чтобы все потом рыдали, винили бы себя навсегда и потеряли бы даже мысль о счастье. Ускакали бы на коне в леса и горы, уплыли бы на корабле в неистребимой печали. Перестали есть и пить, ушли бы в пустыню босиком. Ветер размазывал слезы по щекам… А всё уже, ничего не исправишь, не вернешь…

Где-нибудь на скале могила осталась, крест или камень суровый, надпись про вечную любовь. Солнце, ветер, дождь над вечным покоем…

А наутро встамши: опять некрасивые советские трусы, крысячьи косички с коричневыми бантами, манная каша, в школу по пыльной улице, русский язык, арифметика, а потом на музыку идти.

Ну не знаю, что лучше…

* * *

Если посмотреть на жизнь из детства, но в перспективе на будущее, она вся состоит из *«нет», «перестань-кривлятъся», «займись-делом»*, а если из *«да»* — то *«да, но»*.

Из всего этого крайне трудно понять, как извернуться, чтобы выгрызть такую вещь, как счастье.

Взрослые не говорили о счастье самом по себе внутри, без других людей. Борьба, выращивание детей, победа, замужество, успех, помощь несчастным, легкая смерть, всё ради других — это были признаки счастья, не считая всяких коммунизмов, верной дорогой идущих товарищей и прочая.

Но то, что мечтать надо о счастье среди ограниченных возможностей человеческого мира, — это уже было понятно. Только надо было уравновесить внутренний визг одобрением вокруг.

Для осуществления счастья нужно выбрать *правильную мечту* как путь к нему. Можно было, конечно, оставаться в рамках варенья без пятничной бани или мечтать денежку в пыли найти и на мороженое потратить. Но такие вещи надо держать в тайне, такие мечты презираемы богами, бабушка всегда могла бы ответить, что денежку надо отдать бедным нищим, а если не мыться, то вши мое варенье уплетут, и вообще я умру от грязи раньше, чем варенье доем. Так что это было твердое *«нет»*.

Из *«перестань-кривляться»* и *«займись-делом»* уже можно было выгрызть что-нибудь путное. Вот наша соседка — богиня манекенщица — чем не мечта о счастье. Ей было позволено кривляться целый день, в этом ее работа и была, и ей деньги платили, так что это было еще и *«заняться-делом»*. Оставалось

только перевести мечту стать манекенщицей из всяких *«нет»* в какое-нибудь из *«да»*.

Из *«да»* была красота, это все любят, и одобряют, и стараются!

Вот у нас есть уличный садовник, дедушка ему помогает с розами, потом садовник приходит чай пить, оставляет за дверью испачканные глиной галоши, а я их мою. Бабушка велит. Служу красоте.

А манекенщицей буду служить красоте целую неделю, кроме выходных, да еще за деньги и приятней, без мытья вонючих галош. Красота — утешение и для нищих тоже, они же любят на бульварах спать, под сенью, и вообще розы нюхать. И легкая смерть возможна: ножки подкосились, упал с каблучков и «кирдык», как говорили во дворе.

Ну конечно же, меня не одобрили. Оказывается, бабушка видит, какой я вырасту и что красоты не выйдет. Я помню, что она даже дедушке тайно плакалась, как такую неуклюжую замуж выдать…

Но и соседку-манекенщицу тоже не одобряли, не буду передавать, что соседи про нее говорили. Бабушка ее всегда защищала от них, но и сама ее не одобряла. Не могут люди радоваться чужому счастью: такси к подъезду, цветы, разные мужчины толпой с подарками, шум, смех. Один раз даже дрались из-за нее во дворе, милицию вызывали и скорую помощь.

Но я настаивала, и меня отдали в балетный кружок, чтобы скорей затмить сердце другой мечтой. Оно затмилось поначалу, но оказалось, что и тут мне не выгрызть счастья. Кто-то из предков нашей семьи был бегемот, и это передалось мне.

Со временем я решила, что буду жить как требуется, а внутри буду готовиться выбрать мечту и постепенно, уже во времена взрослой свободы, воплотить ее в жизнь.

Так я еще долго исполняла мечты других, посредственно или из рук вон плохо.

Некогда было заниматься своей мечтой, выживать надо было среди чужих мечт.

Но потом мне повезло. Я освободилась от детства и стала взрослой теткой. У меня родился мальчик-заморыш, но он выжил и выздоровел, он счастлив, и мы дружим в любви и согласии и с ним, и с его счастьем.

Меня бросил один плохой муж, но потом я вышла за другого, хорошего, и живу в любви и согласии.

У меня есть родные, друзья, и они живы.

Я помню своих стариков светлыми слезами внутри.

Я живу там, где мне вполне нравится жить.

Я могла бы умереть гораздо раньше, а пока нет.

Руки-ноги двигаются, глаза моргают, уши хлопают, мозги соображают недалеко от жизни.

Я не толстая, даже вообще совсем и очень.

И в запятках души мне не стыдно, что я не спасла человечество от голода и чумы.

Вот оно, мечтоосуществление, награда Божья за ничто… И теперь только одна мечта до замирающего визга внутри: чтобы подольше было так.

Войнушка

Для того чтобы взяли в армию нашего двора хотя бы рядовым, надо было проползти в трубе арыка[13] под дорогой, когда там нет воды.

Берта ну никак не смогла бы проползти — она всегда была толстая. Но ее брали в армию, потому что она умела делать «таран» — разбегаться и сшибать врага головой в живот. Яшу-маленького брали за смелость, он орал «Урррррааааа» и стрелял: дых-дых-дых, не переставая.

Я проползала в трубе два раза. Это не страшно, но дышать сильно не надо, потому что пыль щекочет нос, и смотреть надо как корейцы, сощурившись, а то пыль ослепит.

Но меня нечасто брали. Во-первых, по сути приказов у меня было свое мнение, часто не совпадавшее со стратегией Борьки-командира. Во-вторых, из-за неуклюжести. Я часто падала.

Поэтому в битвах я обычно суетилась рядом с воюющими сторонами с замечаниями типа: «Смотри, он заходит слева, бей его слева…» Не все понимали, как это — слева или справа, терялись, да я и сама до сих пор путаюсь, поэтому меня казнили как предателя. Во время казни надо было орать патриотически, например: «Мы все равно победим!» Но недолго, потому что, когда тебя расстреляли у стенки, разговаривать не полагается, надо сползать и мучительно гримасничать.

Даже после казни у меня оставались неясные вопросы. Например, почему только одна сторона считает меня предателем, а другая нет, стоит и смотрит. И не пытается за меня отомстить или наградить посмертно. Пока казнящие клялись умереть и покарать, я раздумывала, кто это «мы» победим и как это «все равно».

Мне не удавалось размышлять быстро, а тем временем уже начиналась другая война, а там надо было хотя бы запасное партизанье место получить.

Иногда не хватало солдат, и меня брали санитаркой. Тогда можно было носиться с лопухами, которые были как бы бинты. Но меня тоже убивали, чтобы победить оставшихся без медицинской помощи обескровленных врагов.

Но чтоб хоронить с военными почестями — это никогда! Или хотя бы медаль из кефирной крышечки дать.

С тех пор я не люблю войну.

Французские лифчики в Ташкенте в 1972 году

Да!

Никогда до и после в моей уже длинной и такой разнообразной, что даже и помыслить не смела, жизни не случалось такого визжачего восторга по поводу абсолютно неодухотворенного предмета.

Ну вы представляете себе лифчики, скажем так, наманганской фабрики «Уртаклар», что означает «товарищи»? Сатин, парусина и еще раз сатин, толстый, белый, танковые чехлы торчком и ряд злых пуговиц. Изделие врезается в сиськи, если они есть, и в ребра, если сисек нет.

Так вот, к делу на этом фоне: у нас жили греческие политэмигранты, коммунисты, периодически утешаемые родственными посылками с не-окоммунизменной родины. То есть маслины съедали сами и угощали соседей, а вещичками спекулировали, фарцевали — или какие еще глаголы жгли тогда сердца людей.

Спекуляция была очень притягательным грехом, типа этого самого под кустом спьяну, но без битья морды.

Так вот мои дорогие подруги детства прекрасные гречанки Галатея, дай Бог ей здоровья, и Янула, царство ей небесное, не обладавшие богатыми родственниками, тем не менее, иной раз не проходили мимо чего-нибудь привлекательного. Но, увы, абсолютно бескорыстно.

И душным августовским вечером впорхнули ко мне, томящейся летом на каникулах у стариков, таинственно развернули газетку, а там… Да, Они! 3 штуки. Ощетинившиеся кружевами, готовые к бою легионеры любви… Fabriqué en France!!!

Понюхать, пощупать, померить, резиночки потянуть… даже носить не надо, не стоит растрачивать эту красоту на нашу серую безлюбовную жизнь.

А потом завернули их обратно и унесли — откуда у нас такие деньги?

Преступные радости

В детстве вообще все разрешенное очевидно и неинтересно.

Если что-то нельзя, то зачем это есть и существует?

Да еще без всякой на то мысли и намерения, как, например, громко и вонюче пукнуть при взрослых культурных гостях, когда они только приготовились слушать, как бабушка с Лидией Александровной петь из Шуберта будут.

Но хрюкать публично — это да, это нарочно, нехорошо и заслуживает наказания!

* * *

Берта, Лилька и я сидели наказанные по домам. Берта и я битые, Лилька отделалась криком.

Ну почему детская радость преступна, почему? Ведь дети — невинные существа, созданные на радость и умиление…

Но не в нашем случае.

У нас в пятом подъезде появилась семья непонятной национальности. Говорили они по-русски так себе, а между собой на непонятном языке. У ихней мамаши росли страшные усы и бородавки, папаша всегда молча проходил по двору трезвый. Вечернее домино с необразованным мужским населением презирал, курить уходил в тупик двора один. Мы подглядывали за ним, но он ничего интересного не делал, стоял-курил.

Но не в этом дело.

Когда ихняя мамаша осмелела, она натянула веревку в тупике и стала там сушить белье. Так многие делали, у нас даже специальное место было, и его охраняли, чтоб мы не играли среди простыней. Но на виду, а она в тупике.

Среди ее белья за простынями были огромные штаны, можно сказать трусы с рукавами в кружевах. Изначально эти штаны были строгие, но она пришила к ним кружева, видно даже, как плохо пришила. Руки-крюки, как говорила про меня моя бабушка. И еще сушились лифчики с большим количеством пуговичек. Так вот, мы повадились там за простынями хорониться и мерить эти штаны и лифчики. Ну конечно, мы ждали, пока они сухие станут, чтоб не пачкать об асфальт.

Но не в этот день.

В этот злосчастный день штаны испачкались. Сильно и заметно.

Берта обернулась ими под платьем — она все равно толстая,

никто бы не обратил внимания, и мы принесли их к Лильке стирать, пока ее мамы не было дома, замочили в синьке и хлорке, а потом заигрались и забыли про них.

А тут тетя Римма — Лилькина мама — появилась в боевом настроении постирать белье, приготовить обед и убрать квартиру одновременно. Это у нее бывало, надо было быстро сматываться, пока она нас не захомутала помогать. Только мы выскочили во двор, как раздался крик. Страшный крик тети Риммы. Пришлось бежать назад и удивляться, если там скорпионы заползли или змея. Тетя Римма держала в руках штаны и орала: «Что это? Чье это?» Дальше все произошло как в театре, где все вовремя на сцену приходят, появился ее муж инженер Бергсон и тоже закричал: «Что это? Чье это?» Пришлось признаваться. Произошло по-христианскому, как говорила в подобных случаях моя бабушка: тайное стало явным, и прочие страшные и предупредительные воспитательности оказались уместны. По-христианскому еще прощение полагалось. Но не за такое.

Нас повели к бабушкам на казнь. Тетя Римма хохотала во весь голос, а Бергсон сторожил нас сзади, чтоб мы не разбежались по дороге на экзекуцию.

Тут нам наши бабушки и вломили. Они были старорежимного поведения в смысле воспитания. Лилька визжала так, что ее не тронули. Себе дороже ее стукнуть — оглохнешь потом.

Тетя Римма и моя бабушка пошли незаметно возвращать штаны на веревку, Бергсон стоял на стреме.

Потом они гордились, что все прошло удачно, как у Чапаева.

* * *

В детстве мне повезло географически. Наша квартира выходила на шумную улицу, а под балконом была остановка двух троллейбусов и даже еще автобуса.

То есть вы понимаете, с балкона можно было партизанить — бросаться на усталых после работы граждан бумажными кубиками с водой, брызгать на них из клизмы, стреляться промокашными катышками и просто плеваться. Опознать партизана было трудно, над нами был еще один балкон, с которого палила Светка. Но если ловили, нам доставалось сразу обеим, на всякий случай.

Однажды под нашим балконом остановились тетя Римма, Аилькина мама, и еще какая-то толстая тетенька. Ну если тетя Римма кого остановит — это надолго, ей всегда есть что

рассказать из своей акушерской жизни, а тетеньки любят такое слушать, ахать и даже креститься. Поэтому у меня было время набрать полный рот слюней и осторожно их выпустить.

И попасть! Да, попасть толстой тетеньке прямо в вырез платья на кромочку сисек. Тетенька подумала, что это ворона описалась случайно. И даже не расстроилась, так ей интересно было тетю Римму слушать.

Ай да я, ворошиловский стрелок!

* * *

«Сраная жопа,
холерный малахит!»

Вот такое выражение, которое надо было выкрикнуть не как обидку и обзывалку, а как заклинание.

Знали ли мы в ту пору про малахит? Нет. Холеру — да, знали, нас пугали холерой, обзывали холерой, из журнала «Огонек» моя бабушка вырезала репродукции картин, там была одна, про голод в войну. Вот так я холеру и представляла, в виде худой полураздетой бабки.

Ну про сраную жопу и объяснять никому не нужно. Это смертельно: дуэль немедленно.

А вот малахит? Думали, что это болезнь такая, как осложнение от холеры. Было известно слово «малахольный» — как бы жалкий придурок. Ну, думали, от холеры сумасшествие такое происходит. Лилька, у которой мама детородный доктор была, говорила «ларинг-ит» — это воспаление горла. Она вообще всякие медицинские учености знала. А я решила, что малах-ит — это воспаление малаха. Осталось найти этот орган — малах, у которого из-за холеры воспаление было. Из нас всех в это время только я умела читать ученые книги. Но в медицинских книжках Лилькиной мамы я такого органа не нашла.

А спросить тетю Римму мы стеснялись. Бабушку мою спрашивать было бесполезно. Она бы выпытала из меня, откуда я это взяла, и досталось бы сразу и за сквернословие, и за пустое времяпрепровождение, и вообще. Берта говорила, что ее мама и бабушка темные люди, Таня сразу бы напоролась на крик, что мы все мерзавки и мерзавцы с юных лет.

Борька отважился спросить у сестриного мужа — это был человек *гуманистых идеалов*, он даже *экзамен* сдал по этим идеалам на отлично в *апсирантуре*. Сестрин муж сначала

удивился, а потом долго смеялся. Сказал, что это минерал, камень то есть, неживой, и поэтому не болезнь никакая. Мы не поверили, но в энциклопедии у Лильки нашли: да, минерал, зеленый.

Через несколько лет мне подарили красивую книжку: Бажов, «Малахитовая шкатулка». Ну не могла я без смеха ее читать.

* * *

Посреди печальной и неблагодарной жизни моего детства случилось мне отдыхать на чужой даче. Это когда меня к матери возили. Дача была под Москвой, там был сад, озеро, земляничные полянки и многое другое для утешения. Дачу сняли вместе с семьей, где было двое детей, один моего возраста, другой постарше. Мальчики.

С одной стороны, с девочками играть привычней — куклы там, дочки-матери, домик охомячить. Но девочки меня не любят, играть сторонятся, скучают со мной, раздражаются.

Мальчики же меня вообще не возьмут, разве что на побегушках или неловким фашистом каким-нибудь, которого победить легко и гордо. Зато после игры с ними интересней, они любят поговорить о невидимом. С мальчиками хорошо быть девочкой, неполноценным участником, капризным ниспровергателем, плаксивой ябедой. Их можно молча наблюдать со стороны и придумывать удобную невысказанную дружбу.

Младший оказался совсем дурачок. Даже нечего сказать, только передразнивать его капризы за обедом.

А вот старший… он читал толстую тяжелую книгу про строптивого кита и мстительного человека. Ну все, играть позовет, меня сразу китом назначат, ловить и убивать.

Снисходительно пересказывая мне книгу, он рассуждал, как трудно быть этим капитаном Ахавом, одержимым местью, и темная печаль охватывала мое сердце.

— Мы уедем в начале августа, — сказал он. — Мама хочет.

— Почему? Почему? Ты еще не дочитал до половины, в августе озеро потеплеет, можно купаться, поспеют ягоды, почему?

— Потому что мой папа и твоя мать уезжают на работу вместе, а моя мама плачет с твоей бабушкой…

* * *

В какой-то недобрый день я услышала, как сапожник

неправильно произнес слово «дурак». Дедушка молча указал на меня рядом, сапожник извинился: «Ты, кызымка (доченька), не слушай». Как же, не слушай! Только и делаю, что слушаю, жизнь познаю!

Пришла домой, надменно сообщила бабушке, насколько у нас неграмотный сапожник, даже слово «дурак» правильно сказать не может. В ответной лекции упор был сделан на грехи:

1. Презрение несчастного старика за его трудную жизнь, в которой он не научился грамоте.

2. Донос — самый страшный грех.

3. Повторение бранных слов.

— А разве «дурак» бранное слово?

4. Пререкание с бабушкой, когда ей некогда.

Во дворе мальчишки постарше не ожидали услышать от меня новой редакции «дурака». Впервые я почувствовала уважение и надежду.

В голове радостно завертелось: будак, рудак, фудак, судак. СУДАК!

Бабушка вышла во двор к соседкам, я подошла, вежливо осведомилась:

— Судачите-мудачите?

Мне это казалось верхом остроумия.

Мне и сейчас так кажется.

* * *

Скажу миролюбиво: мне в детстве казалось, что месть — основа справедливости. Отомстить, как правило, не получалось. Но мыслей о мести было достаточно. Например, представить описавшегося публично врага. Или чтоб он растолстел и развонялся. Или шея искривилась… ну необязательно навсегда, по раскаянию — можно и назад.

Никогда не удавалось поверить в проклятия, сглаз и порчу. Дедушкин сарказм по поводу сверхъестественного прочно усвоен. Просто очень хотелось перевести сверхъестественное в естественное.

Потом было время, когда долго казалось, что ничего такого и не надо. Счастье, наверно, всесилье, надмирье… А сейчас опять не то чтобы они сдохли, нет, понимаю уже, что жестоко и неправильно, даже если из рая-ада не исходить, а из равенства разных справедливостей. Но чтоб растолстели неудобно для себя же — да, пожалуйста, растолстейте, но без диабета, я добрая сегодня…

О неожиданности течения мыслей, если их скапливается несколько штук

Жизнь без «зачем» не считалась достойной или даже удачной.

Неприведигосподничная жизнь была самая увлекательная — сиди смотри или гуляй смотри, никто к тебе не лезет, ну можно время спросить у такого незанятого или, там, как на такую-то улицу пройти — так это же развлечение и доброе дело, между прочим. Доброе без напряга.

Вот мы про йогов в кино видали — сидят крестиком, не едят, не пьют, даже глаза закрыли — и ничего, никто их тунеядцами не обзывает, обходят почтительно.

Кругом них все бегают, ездят на таратайках, кричат, а они сидят. Ну, наверно, писать отходят куда-нить или, ну сами понимаете, а так нет — сидят. Мечта.

А то вот усядешься на остановке с подружками — уже гонят музыкой заниматься, уроки, книжки полезные читать, в кружок идти… то есть бежать мимо жизни, научаясь всяким ненужным вещам — плетению морских узлов, шахматам, менуэтам в четыре руки. А нужному как научиться? Не чувствовать, когда больно, например, не думать о смерти в темноте, летать над дракой, не потеть в жару, не терять слова, когда мимо проходит Старый Военный Доктор, вырасти когда захочешь, а не когда получится. Что глупости-то? Я же не прошу отрастить пушистый хвост, хотя очень хотелось бы! Мне, может, пушистый хвост важнее ваших крестиком вышивать? Может, будь у меня такой хвост, я бы научилась вышивать кармашки там, ему, чехольчик для зимы. И ходить научилась бы, не шаркая, чтоб не наступить на него случайно. И танцевать с ним, и помахивать красиво, и мух отгонять. Или боевой чешуйчатый хвост для драк. Или сильный, тоненький, в три руки на фоно играть. Да, правильно, и рога давайте. В троллейбусе толкаться, и кефирные крышечки нанизывать, и фольгой от чайных цыбиков[14] обматывать, и вязать научусь — носки для рогов на зиму! И зонтик ими держать, и банки открывать. Да-да, сразу от варенья, хотя я их и так открою, и без рогов. И на фоно пригодилось бы. Или колокольчики подвесить — оркестр! Копыта? Ну вот, обязательно какую-нить насмешную гадость надо! Да, и копыта, все четыре, с золотыми подковами зато.

Ну, бабуль, ну что ты, ну сейчас, пойду, пойду, только рога

сниму и хвост. Сижу уже, прямо, ноты раскрыла, да, локоть не висит: блям, блям, блям, блям…

* * *

На улице стоит мальчик лет восьми, перед ним тазик, в нем плавают необыкновенные кувшинки. Экзотические. Такие у нас только в ботаническом саду, Я знаю.

Моя бабушка подходит:

— Сколько стоит?

— 10 копеек.

Она роется в кармане.

Я возмущаюсь, шипя ей на ухо: он же их украл в ботаническом саду! Вьрвал с корнем.

Она в замешательстве:

— Ну поддержать коммерцию.

— Какую коммерцию? Он же украл!

Рука в кармане замирает, и мы уходим.

Я спиной чувствую, что мальчик готов меня убить.

Теперь я в замешательстве. Где истина? Вот садовники старались, холили-лелеяли, он украл, а вдруг он голодный? Может, лепешку хотел купить? Или просто семечек? Или полакомиться леденцами?

Бабушка молчит, ее истина легка, мимолетна, без слов, неведома мне, да и ей самой, наверно, тоже…

* * *

В детстве мне надо было выбрать, на кого походить во взрослости. Пионерки-герои — это, понятно, на сейчас, для общественной жизни, принцессы — тоже на сейчас, но тайно. А вот на будущее, когда стану волосатой в стыдных местах большой теткой, которой придется жить самой, ходить на работу, получать зарплату и на нее питаться?

На бабушку мою — нет, во-первых, она старая, во-вторых, не красавица и не счастливица, много охает, и жизнь у нее такая грустная была, что не приведи господь. В общем, она так мне и говорила: не приведи господь тебе прожить такую жизнь, как моя. Хотела мне светлого будущего.

Тетя Римма — детородный доктор. Пожалуй, да, она была веселая. Про нее мужские соседи говорили «бедовая баба». Она была заводная, бегала с нами, сняв туфли. Неприличные

считалки знала, на все у нее был ответ, как надо. Даже если уже ничего не поделаешь, как все плохо. У нее были туфли с золотыми пряжками на каблуках и крепдешиновые платья. Я особенно одно у ней любила — бежевое, а по нему китайские зонтики нарисованы. Но у нее тоже были недостатки: она курила вонючие папироски и говорила без умолку.

Анна Михайловна, учительница, была красивая женщина, но тоже слишком немолодая и одинокая. У нее мужья не задерживались. Видимо, что-то такое у нее в характере было фатальное. Фатальное — это когда, сколько ни старайся, лучше не будет. Этой фатальностью многие женщины грешили, особенно во время войны.

Доктор Басова, педиатр, — у нее был длинный нос, холодные пальцы и насмешливый голос. Говорят, у нее был номер на руке, из заграничного лагеря, но она его отодрала, остался длинный шрам. Она знала все на свете, и как от этого излечиться. Да, пожалуй, она тоже подходит, но не всей жизнью, только после войны.

Да вообще, на кого ни посмотришь, нет идеала. Богатая армянская женщина из соседнего дома — так ее муж бил-бил, а потом плюнул и ушел.

Узбекская девушка из частных домов в переулке — да, красивая и ученая, но у нее был золотой зуб, а мне такое не нравилось и пугало в темноте.

Кроме манекенщицы Тани с верхнего этажа, не находилось идеалов. Но бабушка мне не разрешала такой идеал иметь. У нее не было правильных устремлений и через них правильной репутации. А мне надо было как-то так вырасти, чтобы никого не позорить.

Это всем важно было, а то заклюют. А мне и так жить не сильно приятно, да еще и заклюют. Эх!

* * *

У моей бабушки было много нелогичных правил жизни. И все для других. Альтруизм называется. Например, она обязательно надевала лучшее белье, выходя из дома: а вдруг ее заберут на скорой, и она опозорится рваными штанами, и доктору неприятно будет в несвежем белье ковыряться? А если из дома заберут, значит, давай позориться будем?

Она считала, что добавки в гостях нельзя просить, и даже стоит отказываться от предложения, если ты гостишь в бедной семье. Ну во-первых, мы никогда не гостили в богатых семьях, а

во-вторых, люди подумают, что приготовили невкусно. Если бы они не хотели нас угостить, то зачем позвали? А они, мол, потом будут тебя обзывать обжорой! А про меня и так никто не говорит хорошего, ну и пусть скажут, зато я лишнее вкусное съем.

В театре надо проходить лицом к сидящим людям. Ну это уж совсем неправильно. Во-первых, им все равно, если на них не упадешь. А если упадешь, то уж лучше задом: а то уронишь на них все, что есть в руках, или чихнешь, или слюни пустишь нечаянно — так прямо в них. А если стошнит после антракта, когда скорей давился, пирожное зажевывал? А ведь со мной такое бывало! Что лучше: на воротник стошнить сзади или спереди?

Нельзя слизывать с тарелки. А если ты все равно бедный и не наелся, то что, выбрасывать еду? А еду нельзя выбрасывать. Мне рассказывали, что где-то есть невезучие негры, которые голодают, а я буду на тарелке оставлять?

Или сидеть в троллейбусе надо с коленками вместе. А то кто-нить плохо подумает. Чужому человеку в трусы смотреть стыдно. Вот и не смотрите. А то получается, надо себя вести так, чтобы другие не грешили.

По этим же причинам нельзя ковырять в носу в филурмонии. Музыку пришли слушать? Пение? Вот и слушайте, на сцену смотрите. Я же тихо ковыряю… А может, иначе у меня в носу свистеть начнет и мешать?

Если я так буду думать про всех других, чтоб им правильно было и хорошо, когда самому-то жить?

* * *

Рыцари, мушкетеры, крестьяне и коммунисты вошли в мою вообразительную жизнь одновременно. Нетрудно догадаться о предпочтениях. Лапти отметаю сразу, у них, кроме вонючей щуки на льду и скачек на сумасшедшей печи, никаких благородных подвигов не было. От крестьян надо держаться подальше, они представлялись мне хитрыми хулиганами. Я еще не знала, что среди них было расслоение: униженные крепостные, кулаки, безлошадники и пьяные колхозники. Но все они одинаково не привлекали.

Тогда, в раннем детстве, когда душа отделяется от жизни в сторону благородства и победы его с наградами в виде красавиц и восхищения вообще, крестьяне и рабочие совсем не котировались.

Настоящий рыцарь в широком внеисторическом смысле не должен напрягаться лицом, как коммунист в кино про спасение сограждан путем добровольного сознательного лесоповала. У

него все с легкостью и улыбкой. Вон, возьмите Атоса и Арамиса. И кружавчиков не запачкают, и глаза с поволокой. И переколют всех шпагами типа «вжих-вжих, уноси готовенького».

А тут потные коммунисты бревна подпирают, под дождем, мокрые-грязные. Это что, вдохновлять должно? Нет уж, я, пожалуй, к буржуазии примкну душой, если уж жизнью не получится к рыцарям и мушкетерам.

В те времена доступная коммунистическая буржуазия — это мирное застенчивое мещанство, громимое беспощадно потными лесоповальщиками.

Оно Блоков не цитирует, не ликует в минуты роковые, Шопенов не слушает, если революционный этюд — так боится.

Ну я цитирую Блоков при необходимости и слушаю Шопенов даже добровольно. Ну что делать, у меня на уме тряпки-помадки, с возрастом неумолимо перетекающие в занавески. И Арамисы в кружевах. И никаких коммунистов в рваных майках, корчагинов в обмотках.

Ой, ну нет, нет и еще раз нет. Я не пойму, за что они боролись, если не за шелковые чулки и пирожки с начинкой и те же занавески. За борьбу саму? Но она ведь закончится когда-нить занавесками. Всякая борьба заканчивается занавесками, колыбельками и розовыми пеньюарами.

* * *

Для девочки пятнадцати лет такой склад ума был не только неуместен, но даже опасен иной раз. Вот кадрятся к ней в троллейбусе, она кадрящегося в толпе даже и разглядеть не может. Ну вроде как ничего, а выйдет на улицу — может не понравится, а разговор уже завязался, неудобно человеку сказать, чтобы как-нибудь пошел вон незаметно.

Или она не понравится, увидит, что у нее ноги кривые, и отошьет без лишних слов. Она тогда расстроится. Как жить? Не все время же дома книжки читать?

О пользе сводничества

Моя бабушка была страстная сводница. Она не терпела, когда кто-то слонялся один беспарно или бездетно. Особенно девушки.

Так вот, у нас были родственники из многострадального прошлого: уцелевшие поволжские немцы, выгнанные из родных мест в Узбекистан как возможные фашисты.

Они образовались родственниками, когда мой дядя женился на прилежной студентке экономического факультета — блондинке по имени Хильда. Тогда он пришел с войны целый и красивый, грудь в орденах, еще не пил ежедневно, интересовался жизнью. Но вскоре беспутность засосала его, он отдалился от регулярного образа дней и от всей семьи. Это еще больше сдружило нас с Хильдиной семьей, и немецкие племянницы из города Ленинабада стали наведываться в Ташкент. Одна из них уже заканчивала педагогический институт, и бабушка засуетилась ее пристроить.

А у нас неподалеку был узбекский дом, полный женихов. И каких! Они все были врачи снизу доверху: от гинеколога до зубного. Они были вообще-то бухарские евреи, но члены партии, стесняющиеся своего дикого неевропейского прошлого. Их мамаша и моя бабушка зачастили с чаепитиями, убеждая друг друга, что они интернационалисты. Так оно и было. Приехала племянница, зашел румяный доктор, взял ее под ручку, и они отправились на прогулку. В двенадцать ночи привел назад, сдал на руки. Бабушка устроила девушке ласковый допрос шепотом на кухне, и подслушать не удалось.

Знаю я эти таинственные разговоры! Они моего любимого Военного Доктора пытались захомутать толстой старой тетке! Я это непростительно помню и слежу, чтобы опять его в сети не заманивали. Но о нем в этот раз не говорили в силу юного возраста жертвы.

Там еще два брата были, а у племянницы — две сестры подрастали, в общем, как в сказках про принцесс. Так что главное было — начать хорошо и гладко, остальные уже легче подтянутся.

В общем, приезжала девушка, шили ей наряды, напяливали на нее бабушкины брошечки, караулили с балкона, пока назад не приведут, как овечку в стойло. Потом жених туда ездил, в город Ленинабад, и жаловался, как там не асфальтировано.

Старушки вцепились в парочку зубами. Наша красавица-блондинка, личико как с фарфоровых статуэток, но бесприданница, а бухарская семья — о, у них было… И не только двадцать одеял по обычаям, золота навалом, но и бежевый

автомобиль, телевизор, пылесос, занавески про запас.

«У них нормальный дом, с книгами, письменным столом и зеленой лампой, они культурные люди в несколько поколений, не обремененные обычаями», — на это напирала бабушка в письмах к матери невесты.

Но когда дело дошло до свадьбы, оказалось, что отсталые в вопросах интернационализма бабушка и дедушка жениха желают еврейку! Их никто не спрашивал поначалу, но они прибыли из Бухары и всполошились. Поэтому нашу немочку срочно отправили к раввину. Она посовещалась с ним наедине и вышла из комнаты уже почти еврейкой. Осталось дело за малым: помыться ей в специальной бане и сбрить немного волос со лба. Это чисто символически, уговаривали испуганную немецкую мать. Ох, не зря она пугалась.

Раввиниха ее чуть-чуть царапнула случайно, и полилась со лба жертвоприносительная кровь.

Публично. Тетки со всех сторон заверещали, мать жениха потребовала прекратить: «Вы мне тут своим мракобесием девочку урежете!» Невеста упорствовала: «Вы сказали? Все! Режьте-брейте дальше». Мол, сейчас полноценная еврейка буду, чтоб старикам спокойно в могилу сойти. Подтерли девушке кровь, смазали йодом и повели венчаться.

У них сложилось хорошо, только ей пришлось немного потолстеть на мужний вкус. В общем, так: когда у них уже родилась первая дочка, подоспели остальные сестры, их без труда повыдали за оставшихся братьев.

Их теперь много, их дети живут в разных странах и собираются у родителей в Израиле.

Злобный летописец

Если для жизни нужен злобный летописец, чтобы уравновесить слюни «ах, как мы жили, плясали-обнимались», так это я.

Я помню обидные слова, склоки теток во дворе, драки мужиков, уличных хулиганов с ножичками. И если детские бои можно объяснить нелепостью и недоумством, то взрослое зло из детства кажется неизбежным и пугающим.

Вот жили, делили хлеб, да, но уголь некоторые соседи воровали у других соседей.

А с ними приходилось здороваться.

— А твой папка у нас уголь из подвала украл!

— Нет, это не он, не он!

Что говорили и делали взрослые злого и плохого, отложилось в памяти вместе с подаренным персиком и утешением.

— А жиды скрытные, прикидываются, что нищие, а у самих золото в штанах спрятано.

— А узбеки ослиную мочу пьют.

— А падла из убщажития на моего заглядует, повыдеру косы.

— Вы уберете свое белье с балкона, или я его скину?

— Шо ты лузгаешь с окна, на меня летит!

— Ишь, все у ней новая: и туфели, и хахели.

— Да он отсидел и опять сядет.

Среди особенностей взрослого поведения наблюдалось:

Радостно утешали и злобились чужой радости.

Обиды выкрикивались постепенно, на пару сезонов назад.

Самые сильные подозрения падали на военное время, которое еще было недалеко, каких-то пятнадцать лет прошло.

Обманутого презирали, обманщиком иной раз восхищались и тайно завидовали ему.

Бога поминали больше как бессильного, мол, все видит, а толку-то. Или как некоторое несветлое будущее, мол, накажет, если что.

В милиционеров не сильно верили, не потому, что плохи, а потому как кто ж ему даст справедливость совершить?

Верхние были страшны, они владели миром, им и Бог был не помеха.

И это только словесное.

А сколько было намеков, глазовращений, подмигиваний.

Рук, мимолетно сующих в карманы незаметные сверточки и бумажки.

Утром на базаре накрывали тряпкой тело, окровавленная

борода торчала вверх.

Вечерний стук в калитку, сдавленный крик.

И вырастать в эту липкую паутину подспудности не очень-то и хотелось.

Ламентации по поводу реальности бытия

Жить каждый день — это совершенно лишнее.

Обидно даже терпеть унылую очередь минут и дней, а вот помнить и жалеть лишь о некоторых.

Долгая зимняя дорога, самолетный шум, песок по ногам, соленая вода без края… Ради этого терпеть медлительность проходящего, другие ликуют, а сам все мимо, мимо, когда молод или даже детск.

Без цели горизонт, внутри выносить, явить потом, отпустить в мир, уже не твое, следить украдкой, замирать от тревоги и восторга… — это уже когда взрослый.

Или себе оставить, схоронить, разворачивать, смотреть вполглаза… только захлебываться тихо… — это когда уже ни того ни другого, престарелый значит.

Или даже нет, только подумать о… да, уже прожил его, вышел оглушенный душой — куда идти?

Пошуметь с другими, сосредоточенно внешнему внимая, пережить этот кусок времени, безжалостный, беспощадный, суетливый, как между смертью и похоронами. В зрелости? Когда вот понял, что ЭТО ВСЁ, что имеешь, — твое, и оно невелико и неярко, и другого не будет, из юности лучше не смотреть. А палочкой волшебной размахивай, сколько хочешь.

Вот вышел ты к себе, живи теперь сам собой, ликуй вполдуши, зубы чисти по утрам, кофей свари, спасешься тем, что поесть хочешь, спать падаешь, шарфом замотаться по самые уши, руки заледенели…

Да, да, слышу, конечно, иду уже, иду…

И уйди темным холодным днем, а потом и солнце погаснет… Почитайте астрономию, там написано, погаснет обязательно…

* * *

Чужая музыка в четыре руки. Вспотевший лоб, не пропустить ноту, мучение, не слыша, что играем. Стариковские снисходительные аплодисменты, кусочек пирога, чужой взрослый праздник, девочка, которая должна хорошо себя показать. Замечания потом: надо бы это лучше, и то, и левой рукой потише, басами не забивать.

И не зевать, не чавкать и крошками не сорить. И конфеты не

рассовывать по карманам.

Моя жизнь состоит из чужой. Я так не хочу, я хочу скакать на лошади, на ветру, одна, на рассвете.

Я не хочу двуруки-двеноги, как-нибудь иначе, ну крылья или нет, даже не крылья, белая занавеска на ветру — этого достаточно, ею быть, белой занавеской. Тонкой тканью, легкой, невидимой, почти нетленной.

Я не хочу этого тела, кушать, писать, какать, глазами моргать, ногти грызть.

Тяжелое оно, вертеться в жаре на влажной простыне, чесаться и так вот зависеть от этого тела всю жизнь, а оно будет портиться, толстеть, дряблеть, болеть и ныть и умрет в омерзении.

* * *

Мерой жизни может быть только время, свое время между целями чужой жизни. «Доживание до» и «переживание этого». Особенно в жизни стариков, имеющих сладкую тяжкую цель — поднять на ноги сироту. То есть меня.

Мне кажется, что жизнь имеет не цель, а меру.

Абсолютная цель жизни лежит вне ее, это смерть. В этом смысле все достигают цели в жизни.

На протяжении жизни действует иная мера: дожить и пережить.

А другие пусть про это вспоминают, как им удобно.

Подружка Берта и ее семья

Больше всего я дружила с Бертой и Лилькой. Берта жила в нашем подъезде, иногда даже ночевать к нам приходила. Иногда она меня побивала, иногда защищала от остальных, а я служила ей верой и правдой, и она мне тоже.

Я хочу вспомнить про их семью.

Про Бертину бабушку

— Ну-ка молча смотрите, есоймес[15] глупые, а то тушку продырявлю…

Бертина бабушка делала шейку. Почему шейку? Это была целая бледная ошпаренная курица, бабушка снимала с нее кожу, орудуя тонкой деревянной лопаточкой. Это называлось нас, сироток, учить, как делать шейку. Бертина бабушка сбивалась на идиш, забывала про нас и, казалось, разговаривала с курицей.

Берте было скучно. Она лопала конфеты одну за другой, подмигивала мне не перебивать бабушкино тихое кудахтанье, так скорей отделаемся.

Уже, наверно, десятый раз меня так учили делать шейку. Смотреть. Ну вроде как разрешали потыкать лопаточкой возле гузки, но не дальше, Бертина бабушка недовольно квохтала и бралась сама. Наконец курья кожа лежала на столе, и ей зашивали шею. Потом надо было наворачивать хлебный мякиш, лук, мерзкий желтый жир, чеснок, она легко запихивала это внутрь, зашивала куриную задницу, и через некоторое время в кастрюле плавал страшный раздутый куриный утопленник.

Потом приходила моя бабушка с хворостом и куском капустного пирога.

— Твоя-то мейделе[16] уже совсем умеет делать шейку, — хвалила меня Бертина бабушка.

Они выпивали по рюмочке, отъедались-смаковались крылышки.

Потом нам давали кусок этой шейки для дедушки, и мы поднимались в свою квартиру. Так у нас у всех проходил праздник — Седьмое ноября.

* * *

Когда Берте было семь лет, она влюбилась. Не то чтобы она перестала есть, начала худеть или «поникла головой», перестала смеяться или еще что-нибудь такое романтическое.

Нет, скорее наоборот, она стала громче, заметней, она толкалась сильней, визжала и убегала невпопад, а мы трусили за ней в недоумении.

— Куда ты бежишь?

— Так надо, за мной, тут встали, орите все, громче орать! — приказывала Берта.

— Что орать?

— Ну что-нибудь, песни ори!

— «Я никогда не бываааал в этом городе свееееетлом…»

Теперь я все понимаю. Это была групповая серенада Борьке.

Но тогда мне требовались разъяснения, поэтому меня прогоняли набрать сухих комков глины, которые надо было забросить Борьке на балкон.

Выходила Борькина бабушка, шугала нас, самые смелые огрызались, показывали ей язык. Она была добрая бабушка: не пойдет доносить родителям и сама не шлепнет, не то что Бертина бабушка. Та поймает во дворе, сопли вытрет, засохшие козявки отдерет больно, а потом еще нашлепает, если кто ногти обкусывает.

Но это не страшно было, потому как в карманах у нее всегда леденцы были. И если особенно завопить, она всегда угостит. Я зелененькие любила, кисленькие. Но сопли моя моя бабушка не допускала, поэтому надо было вертеться возле Бертиной бабушки и напрасно ковырять в носу. Для вида. Один раз я до крови наковырялась и за это все зелененькие леденцы вытащила.

Но это я отвлеклась.

Итак, Берта осаждала Борьку. Надо было облегчить душу признанием, для начала подружкам. Она выбрала меня, и правильно, я никак не конкурентка в таких делах. «Вот, — говорит она мне, — влюбилась в Борьку, вырастем-поженимся». Мне, конечно, и в голову не приходило, что Борька может не захотеть. Нет таких, чтобы осмелились перечить Берте: навалится, задавит, оглушит визгом.

Борька был такой же дурак, как я, не понимал намеков и иносказаний. Мы готовили главное признание письменно. Но как-то раз в их мужской компании старший головорез Витька сказал при всех, что Борька — Бертин жених, Борька полез в драку и возненавидел Берту навсегда.

Этого ну никак нельзя было простить. Последнее слово должно быть за нами.

Мы пошли в лопухи, накакали на большие листья, завернули какашки и даже завязали травой. И закинули ЭТО ВСЁ Борьке на балкон…

Спустя много лет на пьяной студенческой вечеринке Берта и Борька «перепихнулись» в чужой ванной.

Берта помнит. А Борька? Как бы узнать?

* * *

А еще у нас с Бертой была игра — в покойничков.

Началась она проказливо: надо было лечь, скрестив руки на груди, на лестничной площадке второго этажа. Там жила баба Нина, которая ходила к соседке, лежащей в темной комнате,

пересказывала ей новости из радио, из газет и то, что видела с балкона. Иногда лежать, не шелохнувшись, приходилось долго, трудно, чтоб не захихикать. Баба Нина пугалась, чертыхалась, но почему-то никогда не смеялась. Потом надо было убежать с рычанием, как вурдалаки.

Нам так понравилось, что мы решились играть публично. Предложены были братские похороны меня и Берты во дворе. Народец ободрал клумбы на улице, обложил нас цветами, накрыл чьим-то рваным фартуком и стал выть, рвать волосы, молиться Боженьке и петь. А Яшу-маленького, Бертиного брата, поставили на шухер. Он проморгал, увлекся своим единственным солдатиком, и взрослые набежали с тревогой и возмущением.

Наших объяснений слушать не стали: ага, опять эта психическая внучка идиотничает. Мы стояли, осужденные, в кольце взрослых фашистов, к нам неумолимо ковыляла Бертина бабушка, а за ней чеканила шаг моя, и нам с Бертой стало страшно. Как бы пригодилось сейчас умереть, но увы, мы остались живы-живехоньки под градом криков и даже подзатыльников.

Ну ни фига себе. Мальчишки в войнушку играют, мрут косяками, лежат непохоронютые, их никто не ругает, а мы по-человечески, Боженьку поминали, так нас же трескать?

Бабушка мне потом долго внушала, что взрослые путаются и огорчаются, видя смерть, даже понарошку. Ну огорчаются, так пусть не играют. Мы же их не зовем с собой, не для них играем. Для себя.

Вечером было скучно и одиноко, кефир на ночь с хлебом дали. Постучался Яша-маленький, якобы к моему дедушке — тот читал Яше про Одиссея, — и тайно принес мне обломки печенья от Берты.

Как бы Берта ни пакостничала, свое сладкое она всегда получит!

* * *

Однажды мы пошли гулять на стадион.

Мы — это Берта, я, Лилька и Яша-маленький. Яша был Бертин брат, и, когда ихняя бабушка готовила торты для клиентов, его вешали на Берту. Он вообще-то невредный был, покорный.

А в этот день был победный праздник, Берта вытащила потихоньку ордена-медали их мертвого дедушки и нацепила на Яшу.

Ну идем мы, а Яша сзади плетется, у него солдатик фигурный, деревянный пистолет и грудь в орденах. Вдруг какая-то тетка разоралась: «Откуда у мальца ордена? Где ты их взял, подонок?»

Мы тоже загалдели: «Ишь, подонок, да ему четыре года. Кто подонок-то в таком возрасте, на себя посмотрите! Это его дедушка герой был! И вообще мы сейчас милицанера позовем».

Она не унимается: «Бл*дки, соплячки…»

Мы, конечно, все эти слова уже знали, но стерпеть не могли. Она стала ордена от Яши отрывать. Он застрелил ее из деревянного пистолета, но она отодрала орден, и что вы думаете? Положила к себе в карман! Лилька схватила ее за карман, он порвался, посыпалась мелочь, окурки. Надо отметить, меня не удавалось отучить кусаться, и это пригодилось. Ну да, пришлось укусить тетку, она же Лильку за волосы деранула. А Берта разбежалась и ткнула ее головой в живот. Это у нее хорошо получалось. «Таран» называется.

Тут другие взрослые граждане прибежали. Стали тетку за руки держать и совестить. А мы подняли орден и побежали домой.

А потом оказалось, не знаю уж как, что с орденом прихватили еще теткины 15 копеек. Украли как бы. А может, и нет, добыли в честном бою. Или нам полагалось как военный трофей. Купили Яше-маленькому мороженое. Он нам отлизать дал, в благодарность за спасение.

* * *

Как вы понимаете, Берта всегда была крупная девочка. Мы с ней были как пузырь и соломинка — бешеный скорый колобок, а за ним — спотыкающаяся жердя.

Она любила ходить на мальчишек стенка на стенку, наваливаясь с разбега. Иной раз и на меня наваливалась. Как-то раз я укусила ее в щеку. Слава богу, несильно.

Теперь Берта таких размеров, что укусить ее можно только лошадью. Десять лет назад мы пировали на террраске ее тель-авивской квартиры.

— Ага, дожила, есойме! Моя бабушка думала, что ты ноги протянешь в десять лет. Ага, не кормили сироту!

Берта — потомственный повар, мать троих детей, и толстого мужа, и брата Яши, уже не маленького, со своими детьми и женой, и всей большой семьи, включая каких-то тетушек, племянников и прочая.

В гостиной вся стена увешана фотографиями родных и друзей…

— Ага, все они тут, как ворики-шайсики[17] в участке: и анфас, и профиль — и все в бегах. Один только дома всегда, мусик-пупусик! — схватила она кота и зацеловала в зажмуренную мордочку.

Вы бы видели, как Берта играет в настольный теннис! Она неподвижно стоит — во всю ширину стола, как крепость, в углу рта — сигаретка, глаза сосредоточенны, и только ракетка мелькает на бешеной скорости!

— Ага, насобачилась капусту шинковать! Всех вынесу в десять секунд!

И про Бертиного брата Яшу-маленького надо рассказать отдельно

Яшин дедушка Яков был вечный герой.

«Это был Менш! Менш![18] А не твой трухляк», — вопила ихняя бабушка на свою худую дочку Раю. (Тети-Раин муж-выпивоха пропадал где-то в Украине, изредка посылая им деньги.)

— Его ранили уже в Берлине, и он упал в лестничный пролет, — говорила она и уходила молиться на непонятном языке.

Ихний дедушка до войны был резчиком кур на рынке в украинском городке, и мы были уверены, что эта работа помогла ему на войне. Он служил в пехоте и дрался в рукопашных боях.

«Сначала шойхет, потом флейшик, паскудняшке лейбн»,[19] — говорил дедушка во время войны. Он был как живой у них, на каждый день их будущей жизни он, оказывается, заранее уже что-то говорил, и бабушка все помнила.

У них были две его фотографии, которые ихняя бабушка спрятала в штаны, когда они бежали от немцев. Выходя из дому, она говорила дедушке Якову: мы ненадолго, на рынок и домой. Она показывала ему ужасные Бертины отметки и спрашивала совета.

«Мамен совсем свихнулась», — горевала тетя Рая. Я ей советовала выдать ихнюю бабушку замуж для утешения, но она даже не хотела об этом думать.

Каждый год в день «похоронного извещения» ихняя бабушка ложилась на кровать, складывала на груди дедушкины медали и фотографии, накрывала лицо полотенцем и молчала.

Каждый год в школе на 9 мая Яша писал сочинение: дедушку

ранили уже в Берлине, и он упал в лестничный пролет…

* * *

Яша-маленький любил далекую иностранную женщину, или даже ее вообще никогда не было в жизни. Он любил чужую жену Пенелопу.

Мой дедушка читал ему мифы. Дедушка вообще читал детям вслух во дворе, но Яше — у нас дома, потому что Яша рос «среди баб», и ему нужно было «мужское внимание». Больше всего Яша любил про Одиссея. Про птиц в ущелье и про эту Пенелопу дедушка перечитывал ему сто раз. Но про циклопа Яша требовал пропустить.

Пенелопа — повторял он мечтательно. У нас даже закладка была на странице, где ее портрет. Яша рисовал Пенелопу, лепил из пластилина, рассказывал во дворе про ее терпение.

Яша считал себя солдатом и проводил свою жизнь на войне, поэтому он думал, что для жены ждать — это хорошо.

— Ага, он там гуляет, а ты жди, — говорила опытная Таня Бурканова.

— Ну не мог он ее взять с собой в лодку, опасно же, — не сдавался Яша.

— Пенелопий ухажер, — хихикали тайно мои старики.

— Дурак ты, Яша! — заключала Берта. — Яшка, помнишь Пенелопу? Как ты Пенелопу любил! — ржали мы на Бертином балконе десять лет назад в Тель-Авиве, наклюкавшись пива.

— Чего? Кого? — пугался Яша. — При жене хоть не смейте! Дуры вы, девки!

* * *

Когда у Яши-маленького случился аппендицит, был большой переполох.

В то время он был первоклассник.

Его забрали из школы в страшных корчах, а Берту отпустили домой оповестить. Я сбежала с ней, мы сначала к нам зашли и уже с моей бабушкой пошли к ним, чтобы ихняя бабушка не упала в обморок. Она обычно падала в него, если ее неправильно оповестить.

Берто-Яшина бабушка схватила пирожки, и мы побежали в больницу — больница была рядом, а если в заборе в дырку перелезть — так еще ближе.

Берта шептала на бегу: «Наверно, его хоронить придется, надо цветов нарвать заранее и черную накидку у Кремерши взять», — и прочие глупости.

Яшу уже прооперировали, он лежал весь бледный, испуганно озирался в огромной прохладной палате среди страшных взрослых мужиков в полосатых пижамах, перевязанных там-сям, небритых и сиплых.

Докторша завопила на ихнюю бабушку, которая бодро разворачивала пирожки: «Не сметь ничего приносить!»

Мужики заглядывались на пирожки, Берта пыталась их засунуть назад в газетку, но обе бабушки настояли отдать больным. Мы с Бертой ворчали: «Не война же, им родственники принесут, а мы сами бедные».

Яша оживился, он пытался показать, как верещала скорая, когда его везли, но в этот момент его начало сильно тошнить, все переполошились, и нас выгнали в коридор.

— Но ведь он не умрет от тошнения?

— Если уж он от операции не умер, то тошнить — это уже не страшно, — уверяла я испуганную Берту, но потом мы опять скатились на похороны. И даже уже начали плакать от этих страшных мыслей.

— А чо, проблюется мужик, и все путем, — уверял нас усатый больной, жуя пирожок, — начинка у вас, уважаемая, удалась.

Потом нас пустили назад посмотреть на заснувшего Яшу, и мы сели в больничном саду дожидаться тетю Раю, Яшину маму, которая работала на трех работах, и ее не сразу поймали по телефону. Тетя Рая прибежала, они залопотали на настоящем еврейском языке, ихняя бабушка вынула из кармана пирожок.

— Ну славтегоспади, хоть один припрятала, — успокоились мы с Бертой.

* * *

Яша-маленький всегда был вооружен до зубов. У него был деревянный пистолет и железное ружье, как настоящее, у него была лента с нарисованными патронами, рогатка, морская фуражка и фигурный солдатик на подмогу.

Яша был боец-одиночка. Конечно, его всегда звали на войнушку, такой солдат был нарасхват, но, даже когда не с кем было, он воевал один. Он пробирался в кустах, полз в пыли, стрелял напропалую в невидимого врага. У него были медали из кефирных крышечек и грязный бинт, которым он обматывался, если считал себя раненым.

— Бей фашистов! — кричал Яша. — За мной!

За ним никого не было, но это ему не мешало.

— Дых-дых-дых, сдавайся, гад!

— Он вообще что-нибудь другое умеет делать? — язвила Берта, когда Яша проливал суп или мучился со шнурками.

— Убийца растет, — сокрушалась тетя Рая. Она не любила военных, она мечтала дать детям образование, как полагается. А ихняя бабушка очень даже хотела видеть Яшу в фуражке и орденах и с военной пенсией.

В какой-то момент своей отважной жизни он узнал, что не только фашисты и наши были на свете. Он узнал про рыцарей, Наполеона, Суворова, Спартака и мушкетеров.

Однажды Васин папа был трезвый и выпилил ему меч, а моя бабушка наклеила на него серебряные бумажки, которые у меня отняла, и Яша стал рыцарем. У нас тогда шло кино «Крестоносцы». Мы плакали над девушкой, которая там умерла под деревом, а Яша клялся отомстить за слепого старика.

Но никогда Яша не воевал с котами, муравьями, пауками, гусеницами или другими зверями. Он всегда был справедливый боец и дрался с равными.

А потом Яша вырос и воевал в Израиле на настоящей войне, и не раз, и был ранен, но об этом он не любит говорить. Он уже не любит эти игры.

* * *

Яша-маленький прибежал с кровавыми соплями. Димитрис из 26-го дома, двенадцатилетний верзила, отнял у него рогатку.

— Он меня в нос стукнул, толкнул, Димитрис сильнее, — Яша захлебывался от унижения и обиды.

За такое полагалась страшная месть. Берта во главе с мужским детским населением нашего двора собрала военный совет в беседке.

Благородное воинство предлагало закидать Димитриса камнями и запулять железками из рогатки.

Я, известная ябеда и вообще коварная душа, предлагала сначала нажаловаться милиционеру, а после вымазать Димитрису дверь какашками. Пусть родители понимают, что воспитали гада.

Лилька советовала похитить злоумышленника и запереть в подвале.

На свою беду, они не заметили Васиного папу, известного пьяницу, который спал в беседке под лавкой и пробудился от громкого негодования.

— Кто плачет? — захрипел он.

— Вот, Яша, — испуганно зашептал Вася. Тогда он еще боялся отца.

— Кто обидел? — взревел окончательно проснувшийся Васин папа.

— Димитрис, он шпана, из 26-го дома. — Народ начал потихоньку отступать из беседки.

Васин папа затрубил пыльным грозным Валькирием: «Бить! Бить, засранца!»

И пошел выламывать ветку.

Слава богу, набежали взрослые и скрутили мстителя.

— Мы, русские люди, его приютили, он наш хлеб жрет и нашего жиденка побил! — гремел Васинпапа. — Гнать их взашей! Разве ж это коммунисты, называется, паразиты! Коммунисты, а нашего жиденка бьют.

При виде входящего во двор чемпиона Узбекистана по боксу инженера Бергсона Васин папа сник, побормотал еще немножко и попросился домой. Его отпустили.

Все утешали Васю, даже Яша.

Моя бабушка пошла к Димитрису объясняться. Он отдал рогатку. Ну, сами понимаете, он больше Яшу не тронул.

* * *

У нас недалеко текла быстрая вонючая речушка. Иногда крысы не справлялись с течением, их зашибало об камни, или, может быть, просто приходила к концу их земная жизнь, в общем, дохлые крысы водились, если поискать под нависшими ивами. А когда в соседней бане «проводили дезинфекцию», так их вообще навалом было.

Дохлую крысу надо было осторожно привязать к палке, а потом носиться с ней по двору и орать.

Яша-маленький, будучи отважного характера, всегда ходил со старшими пацанами на крысью охоту.

Как-то раз все вернулись скоро и без добычи: Яшу укусила крыса.

Она вылезла из-под коряги, и Яша не заметил. Нет, он не наклонялся в воду, конечно нет, кто же ему даст, все же понимают, что рекой унесет. Нет, он не ворошил палкой, она сама вылезла, а он просто стоял. Нет, он ее не трогал, она сама.

Яша рыдал. На ноге у него была рваная ранка, из нее текла кровь.

Мой любимый Военный Доктор Марк Михайлович посадил

его в свою «Победу» и повез в больницу.

А потом Яше делали сто уколов в живот от бешенства. Или даже двести.

А потом Яшу угощали, обнимали, слушали-не-перебивали, таскали на руках на стадион. А главное, верили, что крыса взбесилась от страха, увидев грозного охотника Яшу.

* * *

Наш дорогой Яша, уже не маленький и пушком-усатый, побрился наголо и пошел в армию. Дело было в Израиле.

Муж сестры Берты — ну вы ее знаете — по этому случаю подарил ему свои бывалые крученые шнурки для винтовки М-16. И не спрашивайте меня, зачем шнурки и как они были кручены — не знаю я. Мой сын пошел в армию и сам покупал себе какие-то такие шнурки тоже. Но не докладывал мне, наверно, это военная тайна.

Через пару месяцев были заметны изменения в Яшином характере: он стал курить открыто и сигаретку держал умело, чтоб ветром не сдуло, научился просыпаться почти сразу и все делать быстро, особенно кушать. Он стал ловким, не бил посуду при мытье и не ронял постиранное белье, сдирая его с балконных веревок.

Как-то раз он разлегся на диване и мечтательно сказал:

— Я научился стрелять лежа.

Бертин муж заржал.

— Кто-то беременный? — заранее всполошилась Берта.

— Ну уж прям сразу, никто, что я, дурак, что ли… — зарделся Яша.

Таки что там оказалось?

Яша, с детства привыкший стрелять на бегу, столкнулся с трудностями в стрельбе лежа. То есть он стрелял, но попадал не всегда. И к нему была приставлена инструкторша по стрельбе. Они лежали и стреляли, лежали и стреляли, пока Яша не научился.

Ну, в общем, они привыкли общаться лежа. К концу армии он отвалил к инструкторше. Насовсем. И навсегда.

* * *

Берто-Яшина бабушка всегда охала:

— Когда же ты вырастешь наконец, фрезерчик?[20]

Яша-маленький, когда вырос наконец, стал Яша-толстенький.

Но она уже не увидела такого Яшу в жизни, разве что с небес, откуда она беспокоилась уже несколько лет, когда Яша закончил школу, пошел в армию в Израиле, пришел живой и стал таксистом в Тель-Авиве.

Яша гоняет по узким улицам, беззлобно вопит на иврите, русском, идише, арабском и персидском «ругательные слова». С русским у него хуже всего: жена у него — иранская еврейка, дома на русском они не говорят.

Его теща уверена, что он бухарский еврей: ашкенази[21] злые, а он нас любит! Да кого Яша-толстенький не любит? У кого багажник набит посылками в Ташкент? Кто подвозит соседей с рынка бесплатно? Кто достает кошку с дерева? Кто первый сдать кровь? Кто никогда не отбрешется от милуима?[22]

Яша не закрывает свой рот никогда: он жует, насвистывает, горланит песни, советует и просто ржет. А ночью храпит.

Яша любил быть младшим братом, но никогда не злоупотреблял этим, да и теперь его редкий выходной пролетает в заботах о семье: своей, Бертиной, жениной, тетиной, другой тетиной, дядиной и просто соседской.

Он всегда согласен с крикливой сестрой, упорной офицеркой-женой, придирчивой тещей, избалованными дочками и племянниками, капризными старушками и дорожным полицейским.

Но в одном он упорствовал: его дочки и приемыш-сын пошли-таки в музыкальную школу. И из одной таки вышел толк — она играет в симфоническом оркестре.

Яша сам выучился играть на трофейном немецком аккордеоне, он купил его на барахолке в Яфо. Он подбирает мелодии, которые бабушка напевала, или он слышал их на улице. Играет он охотно, радостно, притоптывая ногой и раскачиваясь.

Когда Яша устает от громких родственников, он садится на балконе, гасит сигаретку в цветочном горшке, раскладывает на коленях полотенце и впрягается в аккордеон с видом человека, попавшего в рай.

Что сказать про Берто-Яшиного папу?

«Ты куда, Одиссей, без жены, без детей?»

Сказать мне про него, в общем, нечего, и я хотела честно промолчать. Но по размышлении завелась, осмелела, и дай, думаю, что-нить напишу, хотя бы про отцов вообще.

С отцами в наши времена даже в Ташкенте негусто было. Не

знаю, как сейчас.

Они встречались разные, от «не приведи господь» и «чтоб ты сдох» до «да чтобы каждому такой отец» и безмолвной зависти.

Для меня отец — это была такая потусторонняя от жизни вещь, что даже представлять бессмысленно.

Бери в книжке любой портрет, да хоть Пушкина, — и вот тебе отец. У меня был период радостного вранья, что родители мои — дрессировщики львов в цирке, а меня не берут с собой жить, чтобы львы ненароком не съели. Но мне никто не верил, потому что мы были бедные, а дрессировщики в золотых одеждах, и я считалась не только лагерной, психической, сиротой, но и бл*дским отродьем. Но это мне не мешало, это были случайные слова, не нарушавшие ежедневного течения жизни.

Например, Васин папа был из «не приведи господь» и «чтоб ты сдох». Пьяный, злой, вонючий почти каждый день, но в редкие часы почти-трезвости он светлел душой, каялся каждому проходящему по двору, строгал мальчишкам мечи и сабли. Со временем Вася перестал замечать отца, он читал, занимался, выскальзывал из дома незаметно и, если бы не Афганистан, был бы сейчас уважаемым непьющим семьянином с детьми и внуками.

Напротив, чемпион Узбекистана по боксу инженер Бергсон был почти из «безмолвной зависти». Но он много работал, и дома тоже, и ихняя Лилька считала его скучным.

Греческий коммунист дядя Орестис тоже выпивал, ходил на свои партийные собрания, и, кроме его привычки фотографироваться с детьми во дворе, про него никто ничего не помнит.

Многие хотели в отцы моего любимого Доктора Марка Михайловича, но у него тогда не было детей, и поэтому он был тоже как Пушкин — все любят, но никто лично не знаком.

Были еще всякие неинтересные отцы, но самым загадочным и неведомым был отец Берты и Яши-маленького. Ихняя бабушка иногда вопила про него с проклятиями, как про плохого бога или вообще даже Сатану: ничего поделать с ним нельзя, и даже «чтоб ты сдох» не помогает. Известно было, что он пьяница, живет в другом далеком городе. Тетя Рая в слезах утверждала, что он их любит, и, если бы мамен, то есть ихняя бабушка, его тоже любила, всем было бы хорошо вместе.

Берта и Яша никогда не говорили про него ни слова, только Яша признался моему дедушке, что отец у него — Одиссей. Наверно, поэтому он так любил, когда дедушка читал ему Гомера.

Мне не разрешали спрашивать про него, хотя во дворе выпытывали: а как там папочка твоей подружки? Один раз я что-то напридумывала про военного, но потом Берта меня

справедливо поколотила.

Берто-Яшиным детям повезло, «да чтобы каждому такой отец».

Опять про Берто-Яшину бабушку

Ну вы и так много про нее знаете: как делала куриную шейку, как козявки из-под наших носов откорябывала, как дедушку-героя любила, а невидимого зятя терпеть не могла…

Она целый день была занята: караулить еду от ворушки Берты, мазать зеленкой раненого бойца Яшу, возиться с соседскими сосунками, стирать, штопать, делать торты для клиентов за три рубля, сплетничать с моей бабушкой и еще вязать.

Она считала, что ихний Б-г был милостив к ней: она была счастлива с дедушкой пятнадцать лет, ей удалось убежать от немцев с детьми, у ней есть внуки и квартира. И еще у ней есть силы, а то бы все без нее пропали, Берта бы умерла с голоду, Яша попал в тюрьму, а уж про остальных внуков где-то на Алтае и думать страшно, как они там без нее.

Когда они стали собираться в Израиль, бабушка называла это «эвакуация», у нее были сомнения: с одной стороны, неплохо бы Б-гу забрать ее сейчас, чтобы не быть там обузой. С другой стороны — на ее душу полагалось вывезти лишний чемоданчик, а там получить пособие. «Ну сколько я с этого пособия съем? — рассуждала она. — Детям перепадет, и умереть на святой земле предков мне приятней будет».

Б-г не дослушал ее до конца и забрал до эвакуации, она упала на раскрытый чемоданчик и милостиво умерла в одно мгновение.

Эх, знала бы она сколько цореса[23] от этого будет, не стала бы даже и предлагать Б-гу такой расклад.

Вывезти бабушку в гробу, даже цинковом, не представлялось возможным ну никак. Оставлять ее одну в Ташкенте без никого — тоже ну никак. Добрые люди помогли, тетя Рая и Берта отправились с мертвой бабушкой в город, который страшно называется Барнаул, и там сожгли ее по чужому обычаю, а обратно привезли жестянку с бабушкиным прахом.

Яша тогда был циничным подростком и не верил, что с бабушки так мало пепла вышло.

Разобравшись понемногу с жизнью в Израиле, они решили похоронить бабушку. А им говорят: нет, у нас полагается еврея целиком хоронить. Чтоб восстал, когда придет Мессия. Надо было нанимать адвоката, который бы изловчился причислить бабушку

либо к жертвам испанской инквизиции 1492 года, либо к жертвам Холокоста. Берта, которой тогда было девятнадцать лет и у нее на руках были: инвалидка мама, инвалидка тетя, несовершеннолетний Яша, застенчивый жених и два кота, — выругалась матом и оставила бабушкину жестянку в спальне возле тети-Раиной кровати навсегда.

— Умру, ее ко мне в гроб положите, а пока с нами будет, — сказала тетя Рая, — чтоб они были хоть на пицкале кдóйшим,[24] как моя мамен!

Конечно, обидно, что не удалось ихней бабушке лежать в священной земле Иерусалима, но в тель-авивском вертепчике оно не так уж плохо, даже веселее будет.

Про тетю Раю, Берто-Яшину маму

— Вы так будете смеяться, что не пожалеете двадцати копеек, — говорила тетя Рая, Берто-Яшина мама, которая работала уборщицей в кинотеатре. Это про комедию или где поют. Дальше было про плакать, это тоже двадцать копеек. А вот про иностранную жизнь было дороже: у вас так дух захватит на весь фильм, что не пожалеете даже тридцать копеек.

Тетя Рая любила пересказывать фильмы: он ее вынес на руках из моря, они всемером скакали на конях и палили из пистолетов (любимое Яшино кино), но она умерла, а он горевал и построил замок, они сбежали в лес, она спрятала ожерелье, и у них было наводнение, а его отец приходил с того света, потому что ему налили в ухо яд, она была принцесса, но долго об этом не знала, потому что жила в деревне… Этот мир вертелся перед тети-Раиными глазами каждый день, и ей некогда было горевать про собственную жизнь.

У худой тети Раи было много разного для горевать.

Конечно, ее толстые родные устраивали ей много цореса и шайсе.

Берта плохо училась, воровала тесто и мясо из супа, когда оно там бывало, била всех во дворе, и родители битых приходили жаловаться ихней бабушке, которая сокрушенно качала головой и делала вид, что совсем по-русски не понимает.

Яша был занят на войне даже за обедом: стрелять дых-дых-дых с полным ртом каши или капусты — это он умел. Яша пропадал, его искали всем двором, иногда даже с милицией, когда он уходил к вонючей речушке партизанить.

Ихняя бабушка свою дочку тетю Раю не уважала, попрекала неудачным мужем и горевала про удачного своего, которого

«ранило уже в Берлине, и он упал в лестничный пролет».

К тому же они были нищие евреи, а сами знаете, находились соседи, которые обзывали их жидами, или грязными жидами, или грязными толстыми жидами, и даже мой дедушка, который таких увещевал строго, не мог помочь. Таких надо бить, но мой дедушка был старый и хромой, а сосед чемпион Узбекистана по боксу инженер Бергсон много работал и редко такое слышал. Конечно, при нем старались не злобничать и его жену Римму не ругали жидовкой еще потому, что она была родильный доктор, а это всем пригодится. Но когда Бергсон об этом узнавал! Он благородно свирепел и даже один раз свалил Васиного папу с лестницы!

Короче, среди уборщицкой работы в больнице, еще где-то и в кинотеатре, сами понимаете, какая была лучше.

Бесплатно смотреть кино самой, пускать нас летом бесплатно на утренники, когда можно эти десять копеек потом потратить на мороженое, и еще три копейки останется.

История любви тети Раи была как в кино за двадцать копеек: где-то в Украине у ней был муж. Говорят, он даже наезжал в Ташкент, тогда Берту и Яшу наряжали в чистое, и они ехали на троллейбусе с ним встречаться. После Берта насупленно молчала, а Яша… Да что с Яши-маленького возьмешь? Палил из пистолетика и называл его Одиссеем.

К нам во двор этот муж никогда не заходил, ихняя бабушка его не выносила и даже обещала ошпарить из чайника, если он посмеет.

А потом тетя Рая ходила по соседям одалживать для него деньги на обратную дорогу.

Плач по тете Рае, зихрона левраха[25]

Так вот, умерла тетя Рая!

Похоронили ее и в гроб засунули тайно коробочку с прахом бабушки. Так что обе они теперь в небесном Ерусалиме на лужайках сложа-ручки-сидят.

А мужа тети-Раиного туда не пустят им глаза мозолить и яблоки клянчить. Когда в Израиль собрались, надо было от него гет[26] получить, да где его искать под заборами-то в далекой Украине? За серебряные подсвечники оформили его скоропостижно скончавшимся.

Ха, скоропостижно, да он давно скончался… Этот шлёпер,[27] бедные его родители, спился и пропил душу, жену, детей, родительские благословения и одобрение соседей. Всю теть-Раину жизнь пропил. Негодящий был мужичонка.

Как жила тетя Рая? Руки у нее болели зимой, три места убирала: соду в ведро — и скрести голубые стены щеткой. Зато ногти как полированные. У нее был ситчик в стопочках в коробке — все Берте шить. Иногда моя бабушка уговаривала и шила самой тете Рае. Помню, у нас дедушка нашел красивую пуговицу, под нее теть Рае платье сшили — как брошка, красовалась пуговичка. Мне до сих пор стыдно: так жалко было пуговицу отдавать, рыдала прям, мелочная моя душа.

А бабушка Берто-Яшина тетю Раю ругала: за мужа-шлемазла[28] непутевого, за Яшкины двойки, за Бертино обжорство, за то, что когда-то техникум не закончила… Плакалась мужьей фотографии — бидне[29] у нас дочки. У бабушки на краю земли в Барнауле еще одна дочка была, образованная училка, но хромая, без мужа родила. И вообще после бабушкиного мужа, которого «ранило уже в Берлине, и он упал в лестничный пролет», не было годящих мужиков, шваль одна, а до Бертиного бабушка не дожила — мечта, а не мужик! Хоть внучке повезло.

Зимой тетя Рая ходила в калошах с шерстяными носками. Поэтому ее принимали за узбечку. Берта стеснялась — тут Кремерша в трофейных немецких ботах, АннМихална в полсапожках, а теть Рая в калошах!

А еще тетю Раю пчела укусила, мы все три дня ходили диспансер мыть за нее.

Тетя Рая не разрешала бабушке Берту и Яшу драть. На что бабушка возражала так: если бы она Раю драла, та была бы

докторшей замужем за начальником.

— Мамен, ты ж мне сама не дала в партию вступить! Я, мож, уже секретарем была, — рыдала тетя Рая.

— Нет, ты послушай что говорит твоя мизинке,[30] — кричала бабушка в мужью фотографию, — в партию, чтоб ее первую замесили в лагерные, как Фимину жену?

Когда кричали громко, мой дедушка посылал бабушку с кагорчиком на успокоение. Я проскальзывала рядом, и мы устраивались с Бертой на балконе плеваться…

Что-то печально я завспоминалась.

Вы, наверно, подумаете, что ничего светлого в ее жизни не было? А вот и нет! Когда ее в Израиле парализовало, зять катал ее на коляске и в парк, и на экскурсии, и на Кипр, и в кино. И внуков увидела — один другого лучше. И еды у них было навалом, и шелковые платья, и Яша на аккордеоне играл! И жидами не обзывали. И с подоконника бабушка в ящичке не ругалась больше.

А главное, тетя Рая умерла во сне, не каждому так везет.

Это ее Б-г поблагодарил за жизнь.

Спасибо, тетя Рая, и от нас тоже!

Подружка Лилька и Лилькина мама, детородный доктор тетя Римма

Другая моя подружка Лилька отличалась от Берты только тем, что была худая и юркая, как мышь. А в остальном они были похожи: орали, толкались, дрались, я еле поспевала за ними. Из боевых искусств я освоила только кусачество, ябедничество и тыканье кулаками, зажмурившись. Ну еще я умела портить настроение неподходящими размышлениями. В момент размышлений Лилька меня иначе как дурой или психической не называла. Даже мою бабушку просила промыть мне мозги.

Иногда мне кажется, что мы больше дружили с тетей Риммой — Лилькиной мамой, когда она вертелась с нами, а Лилька сидела надутая на скамейке.

Лилькина мама, детородный доктор тетя Римма, была решительная женщина.

— Я с ним разведусь, уеду к маме, а он пусть сидит с доской.

Доска — большой чертежный кульман — была причиной всех ее негодований. Муж инженер Бергсон, чемпион Узбекистана по боксу, отгородил часть комнаты с доской и никого туда не пускал. Он стоял там каждый вечер, за этим кульманом, чертил и баловался белыми линеечками с движками посередке, ему даже чай туда подавали.

Родина ждала его труд, ну он и старался. А тетя Римма с Лилькой уже ничего не ждали. Лилька тоже ненавидела этот кульман, рисовала на нем чертиков и скребла ножиком, за что папа Бергсон орал не нее и пугался советской власти.

Тетя Римма жаловалась моей бабушке, что живет как вдова, а это «пи*дец, а не жизнь», у нее на работе рожают по десять человек за смену, это вдохновляет ее, она еще молодая и так далее. А Бергсон за кульманом! Ну сами понимаете. Они шептались, чтоб я не слышала. Ну мне и слышать не надо было, я и так все понимала, о чем они. Вон Тане Буркановой скажите два слова, она вам все объяснит.

Вот и я вырасту, будет у меня муж, будет он за кульманом сидеть, а я как вдова… А если не за кульманом, то в пожарной машине или канаву рыть… В общем, все равно, а я, как вдова, в расцвете лет. Как же светлое будущее организовать?

* * *

Один раз во дворе случилось немыслимое, прямо на моих глазах.

Лилина мама, детородный доктор, подобрала в пыли окурок, отряхнула его и закурила!

Лилина мама, тетя Римма, врач, которая всех требовала руки мыть! И считала чистоту полезной!

Моя бабушка заверещала про туберкулез, который обязательно случится у Лилиной мамы уже на следующий день.

— Сил нет и нервов никаких! — пискнула Лилина мама.

Я не могла этого пережить, я вылезла из-за бабушкиной спины и зашипела:

— Тетя Римма, курить вредно, дедушка даже бросил! (Это его бабушка пилила, а он не часто с ней соглашался.)

Лилина мама засмеялась и заплакала, бабушка повела ее к нам, налила ей кагорчик из воскресного запаса, выперла меня из кухни, и они доплакали вместе.

Потом она ушла, а бабушка велела молчать во дворе, а не то!

Про «не то» было понятно, еще как!

Мне хотелось утешить тетю Римму, даже отдать ей своего мишку, но ведь Лилька враз отнимет!

На следующий день я следила за ихней дверью, но вроде все было как обычно, никто не умер, не ушел с чемоданом, не ввалился пьяный.

И в такую жизнь надо будет вливаться со временем, надо кагорчиком запастись. И папиросками…

* * *

Берта и я своих бабушек любили очень, а вот Лилька свою ненавидела до абсолютизма, это слово означало, что ну ни капельки никакого другого чувства там не было.

Но это не страшно, потому как ейная бабушка далеко была. В украинском городе со смешным названием Черновцы. Теть Римма тоже эту свою мамашу терпеть не могла и сбежала от нее взамуж в Ташкент.

Так вот эта Лилькина Страшная Бабушка иногда наезжала к зиме, и эти две недели состояли из скандалов и слез, истерик на лестнице: «Соседи, у меня ужасный зять, черствая дочь, испорченная внучка, пойду повешусь!» Хорошо хоть ихнюю морскую свинку не поминала лихом.

Перед приездом этой Страшной Бабушки мыли не только всю квартиру, но и лестницу. Готовили-пекли, проветривали. На вокзал ездили встречать без ненавистного зятя, он даже иногда

уходил ночевать к соседям, чтоб она лишний раз не скандалила.

Свои папироски теть Римма прятала у нас. Ходила к нам курить на балкон и возмущаться. Наш балкон был виден с ихнего. Страшная Бабушка в подозрениях вылезала на балкон и орала на всю улицу: «Ты опять куришь, у тебя в легких уже черви завелись, и вонь стоит на всю улицу». Прохожие пугались, растерянно поднимали головы — откуда этот глас небесной кары раздается? Но потом начинали смеяться, и самые некультурные даже свистели и показывали пальцами. Тогда глас бранился на прохожих и теть Римма могла спокойно докурить папироску и еще хлебнуть кагорчика у нас на кухне.

Доставалось всем, но всегда начиналось с зятя:

— Видеть его не могу, боксер, никакой культуры. И какую вы хотите культуру в этой дыре? Азиат! Безбожник! Отщепенец голоштанный!

— Римма, у тебя платья грязные, таракан на стене, табаком пахнет, никакой культуры! Почему ты не вышла за Левушку? Он теперь профессор!

— Лилечка, не ковыряй в носу, сиди прямо, не кидай огрызки в окно, ты закончишь жизнь в тюрьме с такими манерами! Опять все волосы из куклы выдрала, никакой культуры!

— Какие противные соседи, даже которые евреи тоже, у них воняет на кухне, от них можно заразиться, у них нет никакой культуры!

— Как вы тут живете, в троллейбусе сиденья провалились, и на почте окурки валяются, никакой культуры!

Она привозила свои старые платья в подарок тете Римме, плетеные шкатулочки для Лильки и ничего для зятя. Ходила в театр и ругалась как плохо: поем негодно, играем неумело, одеваемся неряшливо. Ходила в кино: индийские фильмы про такую же шпану, как мы все, — босиком и в грязи. Нет бы опрятно жить и трудиться, так они поют и пляшут!

Лилька ошивалась то у нас, то у Берты, а дома вредничала: играла мимо нот, ковыряла в носу, специально громко пукала. Как-то раз украла бабушкин лак для ногтей, и мы все намазались и кукол своих намазали.

Все носились со Страшной Бабушкой, чтобы она не заболела и не осталась на дольше.

Когда она уезжала, нагруженная дынями, орехами, пастилой, тетя Римма плакала: она втайне любила свою маму и всех черновицких родственников, но издали. Инженер Бергсон был особенно счастлив и заботлив — приносил жене цветы и торт.

А потом набегали мы — нюхать старые подарочные платья Страшной Бабушки, наряжаться в них и даже отрезать кусочки

для кукол.

Тетя Римма ничего не выбрасывала, она сваливала их в наволочку в глубине огромного шифоньера.

Когда Лилька была в десятом классе, они все уехали в эти Черновцы, а оттуда в Израиль всей огромной семьей.

Платья забрали соседи. Берта припрятала для меня мое самое любимое — с бархатным воротничком и блестящими пуговками.

Но мне не пришлось его забрать. Там всё так завертелось…

* * *

А еще у Лильки было Скучное Животное. Морская свинка. Она жила в аквариуме, и папа инженер Бергсон построил ей занятный домик с комнатками и колесо — вертеться. Она необщительная была, когда мы к клетке подходили, пряталась в домик, в опилки зарывалась, и все. Лилька ее не любила. Она вообще-то хотела котика, но дали свинку, и скажи спасибо. Свинку завели для воспитания у Лильки любви к природе вообще и к животным в частности. У нее была страсть давить гусениц, и теть Римма боялась, что дочь вырастет фашистской живодеркой.

У Лильки вопрос был: едят ли таких свинок? Лилька вообще мясо любила. У них в доме потроха иногда ели, а вот само мясо — очень редко. Один раз им пациент подарил язык — у теть Риммы кто-то богатый ребеночка родил. Это так страшно звучало — язык. Но это были просто порезанные кусочки. Нас всех позвали. Старшее поколение смаковало: «Ах, и под хреном, ах, и в сметане!» Оказывается, они в прошлой жизни увлекались языками, но не все. А те, которые богатые были, как моя бабушка.

А у Берты с языками исторически не сильно было. У них дедушка с рынка приносил обрезки. Он шойхет был — еврейский убиватель кур еврейским специальным образом. Обрезки были бесплатно, но их там так много людей было в семье, что не прокормишь, даже обрезков не хватит. И вообще это до войны было, до Берты то есть.

Бертина бабушка считала, что в жизни надо при еде держаться, в смысле профессии. Она вот поваром была, а дочери ее хуже вышли — теть Рая — уборщица, а другая дочка — училка в городе Барнауле. Тоже бедная. Не послушали мать, вот и жуют траву.

И что так взрослые увлекались мясом? Считали, что это единственная достойная богатых еда. Прям вечера воспоминаний про колбасу, рулеты, беф-строганы, шейки. Котлеты, нанизанные на кость с фитюлькой.

У Кремерши была книга про то, как кушать надо, если живешь хорошо, весело и богато. Как же мы эту книжку любили! Праздник был от нее. Куда лучше Пушкина или сказок. Там вон в сказках медведь рыбу ловил хвостом в проруби — безнадежное дело. Кислые яблочки, колобок. Всё бедно. Ну у Пушкина стихи про шампанское и прочую взрослую еду — горячий жиркотлет, например, который надо запить, и понос от брусничной воды.

А в этой книжке все наглядно. Посмотрел и доволен уже, как поел. Мы увлекались картинками про шоколадные трюфели, пирожные и суфле.

Суфле в природе никто не пробовал. Суфле — слово какое! Его не испортишь даже кривлянием — туфле-пердуфле. Для принцесс еда, сразу видно. Эх, какие времена были!

Опять я отвлеклась. Так вот, про морскую свинку. Мысли ее зажарить как-нибудь у Лильки появлялись, но как это сделать? Убить свинку, потом чистить шкурку, кишки доставать — нет, это было невыносимо. Еще хуже, чем дохлые крысы возле бани. Поэтому из соображений отвращения, а вовсе не гуманности свинка дожила до преклонных дней и умерла сама без посторонней помощи.

Кстати, про меня.

У меня вообще никаких животных не было. Один раз бабушка откуда-то принесла цыплят в коробке. Но оказалось, что они не наши, а щедрый подарок родственникам. Поцвиркали цыплята — и забрали их. Я без животных росла. Только среди людей, зоопарк не считается.

Дедушка вечно собирал остатки еды кормить дворовых кошек. Вот они, видимо, и считались наши. Но домой их нельзя было приносить.

* * *

Корейцы вон собак ели. Тайно. Я читала, что собака — друг человека. Но не корейца, значит? А они тоже люди считаются. Как всегда: взрослые ляпнули идеал не применительно к разнообразию жизни.

Мой дядя, когда пьяный наезжал из Ашхабада, ходил к корейцам кушать собачье мясо. И его все осуждали.

Но он был пьяница — они вообще вредные и не гуманные.

Пьяницы — это отдельные такие неправильности, которые вырастают из детей по неведомым причинам.

Ни Берта, ни Лилька, ни я даже помыслить такого не могли — пойти на елку вместе в ОДО — Окружной Дом Офицеров;

Лилькин папа, непрактичный инженер Бергсон, чемпион Узбекистана по боксу, получил на работе каким-то волшебным образом целых три билета. Лилька и я бывали там в кино и на концертах солдатского хора, а Берта даже не знала, где это.

День выдался морозный. Моя бабушка поехала с нами на троллейбусе. Уселись втроем на одно сиденье, тихонько пихались, стараясь вести себя прилично, как хорошо воспитанные девочки. Возле ОДО оробели даже. Там таких воспитанных толпа была.

Взрослых не пропускали, но бабушка протырилась, как собака-поводырь. Видимо, сказала, что у ней внучка психическая, присмотр в общественном заведении необходим. Вошли мы, пальтишки сняли, а там уже вовсю праздник — елка, по углам клоуны вертятся, тетка всех собирает в круг плясать. Слава богу, бабушка в круг не полезла — всех позорить, что мы-как-маленькие, у стены встала, а девочек затолкала в круг. Берта подбоченилась и сказала, что не будет за руки браться с кем попало. Тетка настаивала, мы с Лилькой взяли Берту с обеих сторон, но она стала вырываться и отбежала рядом с бабушкой постоять. Тетка, видимо, подумала, что она и есть эта психическая внучка, и отстала.

Мы запели и заорали: «Елочка, зажгись». А потом Дед Мороз вышел, настоящий прям, но потный, и Снегурочка, но толстая. Стало скучно отвечать на его дурацкие загадки и ужимки, и мы сели на пол рядом с Бертой ждать интересненького. Я надоедала бабушке, не потеряла ли та квитанции на подарки.

Было уныло, но, наконец, Дед Мороз отвалил, снова заиграла музыка, кто-то стал реветь, кто-то драться, гоняться и пихаться, стало весело, и девочки втянулись.

Елка пахла чудесно, играла веселая музыка, даже Берта плясала. А когда раздали подарки — вообще началось счастье. По дороге бабушка достала красивый кулек и предложила скинуться на подарок Яше, которого не взяли по малолетству. Чтобы не так обидно было, прибавила каждому от себя по мандаринчику и орешку, завернутому в серебряную бумагу.

Сначала пошли к Берте, встали перед дверью и, увидев Яшу, заголосили: «Новый год, Новый год, Дед Мороз к нам идет». Потом все пошли к нам, сидели, пили чай. Пока тетя Римма не пришла забирать Лильку. Тут бабушка отозвала меня в сторону и велела поблагодарить тетю Римму и дядю Борю за билеты и сказать, что в восторге.

Тетя Римма пришла, я выдала благодарность, а девочки завопили: «Ты что врешь? Подлизываешься, да? Сама же ныла, как скучно, какой Дед Мороз дурак, какая Снегурочка дура…»

Я заревела и ушла в нишу в коридоре, где под вешалками хранились запасы соленья и варенья. В комнате еще долго пререкались, что хуже, неблагодарность или вранье, пока Бертина бабушка не крикнула: «Ша, предательство хуже, шайсики, идите Лариску утешать».

В нише быстро помирились, и только запустили пальцы в ведро с соленой капустой, как тетя Римма погнала нас в комнату. Бабушка уже разворачивала ноты — мол, сейчас построимся и петь будем, как хорошие девочки. Но не тут-то было, у Берты заболел живот, Лилька стала кашлять, Лариска икать, поэтому всех отпустили колбаситься на воле.

Бабушка рассказывала про Рождество-до-революции, про елку дома в главной зале и как она делала подарки кухаркиным и служанкиным детям, ангелов вырезала и орехи в серебряную бумажку заворачивала. И как они топтались нерешительно, но потом ее мама играла на рояле, все хорошие становились петь про Христа…

Бабушка начинала приплакивать, дедушка приносил кагорчик, дамы возвращались к веселью, потом получалось, что подарки уже все съели, Бертина бабушка ковыляла домой, у нее всегда находился кусочек ватрушки или еще пирожка какого…

Потом заснувшего Яшу-маленького доставали из-под стола, относили домой, и праздник кончался.

Борька

В детстве Борька был негодящий жених — до школы засохшие козявки под носом, потом — серый троечник, заусеницы, грязные ногти, потом прыщи.

И характер был злобный, сплетничать, словцо прилепить — да завсегда, забияка, нередко битый. Всегда командир.

Его девочки не любили. Кроме Берты, но и та недолго.

Борька вырос в надменного красавца. Прыщи унялись помаленьку, до военной кафедры в институте шикарил гривой. Мальчишка-обаяшка, летящая походка, медальон на шее, брюнет, голубоглазый. Искатель приключений. Он это понял, подкрепил репутацию. Девочки стайками рыдали под балконом. И девственности лишались добровольно под его чарами.

— Ален Делон, — говорили девочки.

— Бомбардир, — говорили мальчики.

Только не думайте, что Борька был бессердечник: цветы-мороженое, всё как положено. Влюблялся по правилам.

И вот, когда они уже собрались всей семьей в Израиль, окинул он печальным взглядом родные пространства, знакомый двор. И соседний двор окинул и обнаружил незаметную, не охваченную чарами армянскую девочку.

И завелась в нем несвоевременная любовь.

Наш двор исходил завистью — у нас на выданье девок полно, а он к этой клеится. Росли все вместе — внимания не обращал, а тут на тебе! Из вражьего двора. Да у ней усы! Да у ней ноги кривые!

В общем, горевал Борька, но «их там еще будет» — убыл с семьей.

Девочка заливалась слезами, даже жалели ее во дворе на проводах. Ну обещания там, письма и все такое.

Ха, письма — только через родственников, остальные не приходили. А родственники таяли на глазах — устремлялись.

Тут девочка засуетилась: у армян тоже полнарода за рубежом, обегала родственников, нашла родных в Египте. Сделали документы, что она прям чуть ли не сестра-племянница, и рыдающая мать проводила ее на вокзал. Тайно. Евреи тогда стадом шли, а про армян и подумать никто не мог.

1974 год. Израиль и Египет тогда замирялись после войны, ну она и надеялась.

Никаких Шекспиров!

Никаких Джейн-Остинов!

Никаких Свиданий в Окопах в Процессе Перемирия,

Голубиной Переписки, Локонов-Амулетов, в Гробу и до Гроба.

Никаких Декабризмов в Библейских Пустынях.

Каждый женился у себя.

Она вышла замуж за армянина и переехала в Париж.

Он женился на израильтянке и остался в Израиле.

Сколько Берта ни допытывалась, молчал Борька про Асю. Но многозначительно улыбался.

Раскололся недавно: встречались в Париже, да. Кино прям, но скучное. Клод-лелюшевое: падам, падам, музычка играет. Сигаретный дым. Никто не чокается. Смотрят вдаль, как слепые. Посидели, выпили. Фотокарточки показали — там внуки, тут внуки.

Даже не целовались на прощание, и погода была скверная.

* * *

— Тебе хорошо, ты еврей, Борька, уедешь, а нам куда деваться? Даже в Москве не устроишься.

— А я не знаю даже, вот уеду, а все это куда девать?

— В память себе засунешь.

— Дурак ты, это в жопу засунуть, а в память не выйдет, пока не старый. Пока не старый, некогда вспоминать, надо зарабатывать, вертеться, вперед смотреть…

— Будешь старый, вспомнишь, позвонишь, и я тут как тут, тоже старый в тюбетейке. Сижу у подъезда, семечки лузгаю. А что скучать? Наваришь плова, винца кислого достанешь, семечки, урюк — вот он весь Ташкент тебе. Ну что вот такого ты будешь вспоминать, чтоб жалеть и плакать? Ни денег, ни жратвы, трусы сатиновые, крысы в Саларе, жара, босиком в пыли… Ты жизнь поблагодари, сытый будешь, на машине кататься. Разбогатеешь.

…и пыль золотом обернется и слезами…

Еще обо мне

Окончательных преодолений ну никак нету. Это потому, что жива еще. А преодолевания — да каждый день!

С детства каждый день преодолеваю обжорство.

Вот представьте себе пирожное начала шестидесятых годов в провинциальном гастрономе, и чтоб откушать его за мраморным столиком! Это крупное пирожное, в те времена 16 копеек. Это которое потом за 22.

Сначала неторопливо отлизать вареничную пупочку на креме. Потом осторожненько подлизывать сам крем. Потом можно и бисквит откусить. Только не жевать! Бисквит должен намокнуть, размякнуть и почти раствориться во рту… Ну а потом долизать пергаментную бумажку, отвернувшись к стене, потому что это неприлично.

А потом заглядывать бабушке в глаза, вздыхать, преодолевать желание забежать за прилавок и наброситься изнутри на подносы. Тогда уже не слизывать, не вдыхать, а лопать, запихивать в рот как можно больше за раз и не забывать дышать равномерно, а то много не войдет.

Но это мечты!

Главное — это преодолеть мечты. Это самая главная победа. Для меня.

У меня мечты были все недостойные, негуманные, невысокие. Мечты не пьяницы, но сладкоежки. Или злые, но не коварного тирана. Просто чтобы все плохие перемерли или отошли так, чтоб их не видно было.

Мне не приходилось преодолевать хорошее на пути к еще лучшему.

Преодолеть — не свалиться нафиг во всех смыслах. Чтобы потом, если и спать неспокойно, то хоть без ужасов совести. И руки-ноги целы. Это да, удавалось иной раз!

Я так и не смогла преодолеть страх перед властью. Не уходит! Где-то в глубине, в животе сидит маленький сталинбрежневгитлермао и в роковой момент щиплет в нежное брюшное мясочко, пачкая светлый образ полицейского или пограничника, отрезая гражданское братство с защитником меня же.

Внутри, глубоко внутри, я всегда боюсь, что какая-нибудь оплошность, случайность, злой рок помешает мне, меня посадят в тюрьму, запытают и замучают моих родных. Происхождение из пересаженной-перестрелянной семьи гнетет меня до сих пор.

Что удалось мне преодолеть? Иррациональное поведение. Я

научилась держать морду кирпичом. Прям по системе Станиславского — и помогает. Ну руки потеют немного, ну вытру. Сдержанная спокойная улыбка, прямая спина. Ощущение незримого равенства непонятно с чем, но не со всем сущим, это уж точно.

Потом, когда официальная часть окончена, легкая смущенная говорливость нападает на меня.

И что-то типа маленького счастья.

Все, наверно, думают, что бабушка меня любила так, что восхищалась мной: красавицей, доброй, умной, одаренной во всем девочкой!

Ан нет, больше всех она восхищалась моей подружкой, аккуратной одноклассницей.

Бабушка хотела, чтобы я была на нее похожа. Она умела вышивать крестиком, как машинка, у нее был прекрасный почерк — круглые буковки одинаковой величины, ну бисер прям, бисер!

Руки чистые, банты глаженые, туфли блестят, она была круглая отличница, вежливая, спортсменка и юный натуралист.

В балетном кружке она не падала на бок и знала наизусть, как ходить разными шахматами.

Она не сутулилась, отвечала честно без вранья и стирала с доски перед уроком по собственной инициативе.

Она была мечта усталых учительниц, привередливых мамаш и гордых отцов.

Каждый почти день мне ставили ее в пример, и это было хуже юного ленина, который был хороший ученик, или старого ленина, который был хороший уже во всем и даже не курил.

Моя одноклассница выросла в стройную красивую блондинку, а я нет. Моя одноклассница закончила университет и защитила диссертацию, а я нет. Моя одноклассница была везде впереди меня: она потеряла девственность раньше и приятней, оба раза она выходила замуж раньше меня, у нее было больше детей и зарплаты. У нее были неколебимости и правота. Мы никогда не сравнялись.

Но есть одна вещь, в которой я сейчас сильно лучше: я худее.

Платье на ветру надо прижимать руками к ногам, чтобы не было видно штанов и чулочных застежек. Это сейчас такое считается секси, а тогда это было позорно.

Не ведавшие колготок женщины стеснялись.

Наверно, тогда было секси и маняще — прижимать юбку к ногам, тупить взор, изображать озабоченность нравственностью и скромностью.

Но это было искренне. Скромность и преданность идеалам образования, серьезность целей жизни и возвышенность чувств по

любому поводу. Любовь в самых смелых представлениях юной провинциальной девы не доходила до секса и кончалась поцелуями не дальше шеи. Лучше в щеку и кратко.

И так долго. Пока не случилось оно, нелепое, неведомое, неумелое, с недоумением со стороны холодной мысли.

— Во смеху-то…

— А ты что думала?

— А он что сказал?

— Говорит, где твоя девичность?

— Ой, ну а его какое дело?

— Ну не знаю, я ничего не поняла…

Да чтоб они провалились, советские прокрусты…

* * *

Да будь моя воля, у меня все бы сверкало, все золотце-серебренце, зеркальное, лаковое, ну всё: и стены, и мебель, и тапочки, и полотенца, и посуда, и одеяла стопочкой, и слоники, а уж про выходное и говорить нечего.

А что не золотое — то истошно малиновое и сиреневое с просто блестками.

Культурные люди не разговаривали бы со мной, и меня обволок бы общественный вакуум. Навсегда.

Потому как, даже если перейти потом на серое с серым, никто бы не простил, боясь рецидива и тени на репутацию.

Глупость и заносчивость можно свалить на печали детства.

Бесшабашность и азарт — на смелость молодости.

Подлость и предательство — на мудрость зрелости.

Неблагодарность и равнодушие — на слабость старости.

Дурной вкус даже на врожденное слабоумие свалить не пройдет.

Вот и есть у меня серое пальто и черные ботинки, всё для вас, культурных…

Эпилоги

Салоники, Греция, октябрь 2009 года.

Балкон, кофе, сигаретки.

Тридцать три года не видались.

Это я, я, вон, смотри, колечко это помнишь? Мне твоя бабушка подарила. Я его уже два раза расширяла, опухают пальцы, а не снимаю, оно у меня талисман в жизни. Как мне твоя бабушка советовала: горько станет, потри колечко, поговори с ним, выведет тебя опять на дорогу.

— Ну что, выводило?

— Конечно, вон, живая-толстая, живу-поживаю? Так по-русски правильно я говорю? Да не плачь ты, мы свое отплакали. Видишь, вон свиделись, как это ты говорила: осталась за железным занавесом. Выбралась из-под него, слава богу. Эх, тесно жили, я на полу спала под столом, а ты на сундуке… А помнишь, за яйцами стояли, у меня чулок отстегнулся… как переживали из-за ерунды. А танцевали как? Под «Риголетто»? Нее, это под «Паяца», Леонкавалло, «смейся, паяц, над разбитой душою»… уж посмеялись…

Как тут жили? Да так и жили каждый день. Я быстро устроилась, квартиру купила. Дочка росла умненькая, мне награда. Тут мне только вдовцы светили, тогда строго смотрели, отсталая страна: одиночка с ребенком. Я не захотела. Тут все знаешь чего боятся? «Комплекс Вуди Аллена» называется. Подрастет чужая дочка, отчим-старик свататься будет. Даже в газетах пишут…

Да он еще в Ташкенте ни гроша не давал алиментов, а тут… Как-то ему дочка написала, просто так, познакомиться. Была у нее внутри обида, что бросил ее, что знать не хотел. А он обратно пишет: хочу на островах отдохнуть, сделай мне гостиницу… ну и послали его по матери… прости уж, что так говорю.

И ты говоришь по матери? А твоя бабушка не разрешала нам, помнишь? Помнишь, мы в подвале на стене написали «х*й»? Где все равно никто не видит… смелые, героини прям, дурочки… а ржали-то как. И это слово, ну как его, тихо, папа подходит…

Давай посидим, колени болят… Папу побили. Коммунистов вообще били, понаехали разбойники, говорят. А сами-то? И сами фашисты…

Эх, если бы не папин инсульт, поехали бы с тобой на острова, как я люблю острова, уже три года не езжу никуда…

Нее, и не хожу никуда, вот оперные диски накупила, поставлю и кроссворды решаю, от этого и язык хорошо знаю. Да

все равно нас ненавидят, особенно из-за грузинов, приехали они в девяностых. Кто грек оттуда, а кто и документы купил. Сидят в кепках, золотом торгуют, водку пьют на бульварах, сорят и матерятся… позор один. Ни языка не знают, ни обычаев.

Мама тебя помнила, стариков твоих, всех соседей, до самой смерти…

И Яна умерла, и Франга, и Костис из вашего класса тоже.

Как шили из занавесок, помнишь? А как на стадионе вечером на луну смотрели, а по ней американцы ходили? А как помаду воровали у моей мамы? И у тети Оли, соседки, тоже царствие ей небесное…

Дочка все больше с мужниными родителями, там образованные, с деньгами, помогают. Мне стыдно, у меня и помочь денег нет, и работаю я, и папа совсем плох, свекровь бегает с внуками на английский, на плавание… Вот дочка диссертацию защитит в декабре… Муж ей хороший попался, семьянин, детей любит, меня лечит.

Ну как мы прожили? Умрем теперь спокойно, а? Дети в порядке, сами справятся…

* * *

Телефонный монолог взрослой Берты по поводу визита взрослой Лильки, ныне религиозной дамы Шуламит.

— Ну мы, конечно, убрались в доме, котяру со стола шуганули, ага. Входит — вся в чулках, жакетке черной какой-то, нищенка с базара. В августе! В Тель-Авиве! Она в чулках, а в Ташкенте в одних трусах бегала.

С Яшкой обниматься не хочет — нельзя ей теперь с чужими мужиками. Это он-то чужой мужик? А Яшка при своей солдатской бабе обнищал манерой, как ляпнет: а у тебя под париком голова лысая или как? Ну что ты будешь делать, руку отобьешь на нем!

Ну чего Лилька? Довольная вроде. Но есть не стала. Вот, говорит, у тебя некошерно, у меня своя посудка и свое печеньице пожую. Ага, как бабушкины пирожки лопать — так первая была, а теперь ни-ни.

Да я думаю, что она вдовая с государства больше имела, чем со своего нищеброда. Он пятнадцать лет в ешиве обучается! Ага, пятнадцать лет! А что ему Бог своих детей кормить не велел, что ли? Она с работы не вылезает, а он учится. Закон Божий он учит! Сволочь.

Ну я понимаю же, горе было, когда первый ее умер, помним его, красавца, сами вздыхали.

Она, наверно, специально такого выбрала на после, чтоб легче горевать было. Ну чахоточный какой-то, жидкая бороденка, в шмотках черных, из-под штанов нитки висят. Ну ворона и есть. Стыдно смотреть на фотку, прости господи.

Мальчата ее младшие, ага, тоже в пейсиках.

В общем, даже Яшка заткнулся наконец, сидим-молчим, как мертвые.

Ну что потом?

Ну винца выпили, отошла она немного, ага, даже моего пирожка откусила…

Ну то-се, тот умер, этот спился, того парализовало, этот жив еще, там внуки пошли…

Лариска, ну чо ты ревешь там? Радуйся, она в рай попадет, правильная такая. И мы рядышком пролезем, ага.

notes

Примечания

1

Лингва-франка — язык, служащий средством для межэтнического общения.

2

Рудольф Керер — пианист, в те годы жил в Ташкенте.

3

Берта сразу, а я со второго раза. Первый муж у меня пьяница случился.

4

Махалля — традиционный узбекский квартал.

5

Собирайтесь в кучу.

6

Коммунистическое кладбище в Ташкенте — там хоронили без религиозных обрядов.

7

Шмендрик — придурок, неуклюжий (*идиш*).

8

На хлопке — студентов посылали собирать хлопок, как в России на картошку.

9

Бабай — русские дети в Ташкенте так называли узбекских стариков, обычно страшилочно: придет бабай, заберет, если будешь плеваться…

10

Ака — обращение к старшему мужчине (*узбекский*).

11

Апа — обращение к старшей женщине (*узбекский*).

12

Чесеирка — ЧСР — член семьи расстрелянного.

13

Арык — канава для полива. Два раза в день где-то приоткрывали заветную заглушку, и в арык поступала вода, тогда мы на морские бои переходили.

14

Цыбик — упаковка чая в те времена — кубик из фольги.

15

Есоймес — сиротки, девочки без отца (*идиш*).

16

Мейделе — девочка (*идиш*).

17

Шайсики — негодяйчики, от слова «шайсе» — дерьмо, несчастье и тому подобное (*идиш*).

18

Менш — настоящий мужчина (*идиш*).

19

Сначала шойхет, потом флейшик, паскудняшке лейбн — сначала рубщик мяса, потом сам мясо, мерзкая жизнь (*идиш*).

20

Фрезер — обжора (*идиш*).

21

Ашкенази — евреи европейского происхождения.

22

Милуим — ежегодный призыв резервистов в армию (*иврит*).

23

Цорес — несчастье, хлопоты, беда (*идиш*).

24

Пицкале кдóйшим — чуть-чуть святой (*идиш*).

25

Зихрона левраха — благословенной памяти (*иврит*).

26

Гет — еврейское религиозное разрешение на развод от мужа (*иврит*).

27

Шлёпер — допивающий остатки из рюмок и кружек в шинке-пивнушке (*идиш*).

Шлемазл — недотепа, придурок, неудачник и т. п. (*идиш*).

Бидне — бедные, несчастные (*идиш*).

Мизинке — младшая дочка (*идиш*).